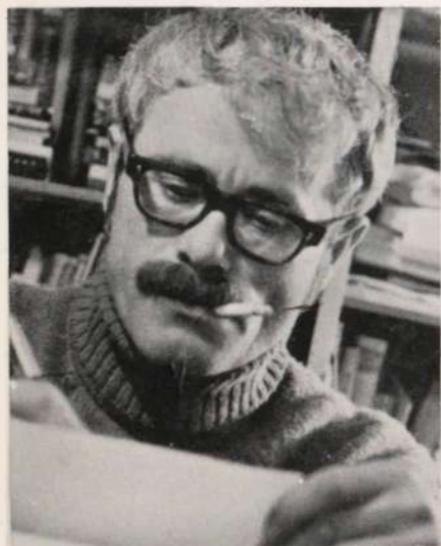


ВРЕМЯ ИМБИ 12 1976

СРЕДИ НЕВЕРИЯ И СУЕТЫ.
В МИРЕ, ГДЕ ГРУБАЯ СИЛА И ЛОЖЬ
СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ,
МЫ ИСПОЛНЕННЫ ОДНОЙ ЛИШЬ ЦЕЛЬЮ -
ПОМОЧЬ ЧИТАТЕЛЮ
ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬСЯ
ВО ВРЕМЕНИ И В СЕБЕ



"Мой папа убил Михозлса"

Владимир
Гусаров

Ицхак
Мерас

"Полчаса в незнакомом доме"

ВРЕМЯ и МЫ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ.

№ 12 октябрь 1976

Выходит один раз в месяц

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Марек Хласко

"Обращенный в Яффо" 3

Два рассказа 61

Ицхак Мерас

"Полчаса в незнакомом доме" 75

ПОЭЗИЯ

Анри Волохонский

"В небе камень-луна" 82

ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил Ледер

"Афера, или дело, которое
тянется 22 года" 86

Иегошуа Бар-Йосеф

"Истина в беллетристике и
публицистике" 126

Герман Файн

"В роли высокооплачиваемых
швейцаров" 133

КРИТИКА

Наталья Рубинштейн

"Сквозь исповедь сына века" 142

ИЗ ПРОШЛОГО

Владимир Гусаров

"Мой папа убил Михозлса..." 156

Михаил Шульман

"Петроградская гастроль

кантора Шульмана." 192

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Сергей Андреев

"Князь Дуду и другие" 209

"Об "интеллигентской фанаберии"

в благословенной Америке" (письмо

старого эмигранта новому) 215

Коротко об авторах 218

DIGEST OF TWELFTH ISSUE OF

"VREMIA I MI" ("TIME AND WE") 220

Главный редактор

Виктор Перельман

Редакционная коллегия:

Фаина Баазова

Георгий Бен

Лия Владимирова

Егошуа А. Гильбоа

Илья Гольденфельд

Михаил Калик

Михаил Ледер

Борис Орлов (зам. гл. редактора)

Наталья Рубинштейн

Дмитрий Сегал

Йосеф Текоа

Аарон Ярив

Представитель журнала в США Эдуард Штейн

7 Miles Ave, Woodbridge,

Conn. 06525 t. (203) 387-05-97.



Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

OCR и вычитка - Давид Титиевский
Библиотека Александра Белоусенко

ПРОЗА



Марек ХЛАСКО

ОБРАЩЕННЫЙ В ЯФФО

(Окончание. Начало см. в № 11)

Мы с Робертом сидели на диване, а тот человек и его жена уселись напротив нас.

— Ну, и как же это должно выглядеть? — спросил хозяин дома.

Я уже встречался с ним когда-то; пятидесятилетний гангстер, сколотивший достаточно денег, чтобы вступить на праведный путь.

— Я вам уже говорил, — сказал Роберт. — Для начала нам нужны небольшие капиталовложения, а потом весь доход мы делим на три части.

— Сколько же вам нужно?

— Пятьсот фунтов.

— Пятьсот фунтов — это большие деньги в Израиле.

— Одна собака будет стоить фунтов сто. Последний раз мы заплатили за собаку восемьдесят и еще пришлось ее откармливать, потому что она была худая, как сам Симеон Столпник.

— Остается еще четыреста.

— А гостиница? А еда? А если придется пригласить его невесту на чашку кофе?

— Мне это дело представлялось так, что приглашать будет она, — сказал хозяин дома.

— Я вас умоляю, не учите меня жить! Конечно, приглашать будет она. Но вся штука в том, что он готов выложить последний грош, чтобы доставить ей удовольствие. Его абсолютно не волнует, что завтра он будет голодать. Его интересует только эта единственная ночь, в которую она подарит ему неземное блаженство. Это человек своевольный. Последний романтик. Как вы не понимаете?

— Но ведь за такого ни одна женщина не выйдет замуж, — сказала жена хозяина дома. — Такой мужчина хорош на одну ночь, но не на всю жизнь. — Она повернулась ко мне: — Хотите выпить?

— Нет, — вмешался Роберт. — Ему нельзя пить.

— Почему?

— Он распухает. Слишком много пил раньше. У него почки ни к черту. А его лицо должно быть изборождено следами страданий. Бессонные ночи, тоска по настоящему чувству, духовные муки. Вы меня понимаете? Или, может, вы хотите, чтобы я предлагал этим бабам человека с лицом Деда Мороза? Милости прошу, попробуйте сами! А я на вас посмотрю со стороны. Всегда готов одолжить вам на обратный билет в Тель-Авив.

— И вы рассчитываете всучить женщине человека с больными почками?

— Но она же этого не будет знать! Может, вы думаете, что я ей это расскажу, да? Может быть, я похож на идиота? Может, вы еще думаете, что я ей принесу его свидетельство Вассермана? Ведь вы же так не думаете, правда?!

Роберт замолчал, и они уставились друг на друга. А я уставился в окно. Сегодня дождя не было. На улице перед домом росло какое-то дерево, и мне вдруг пришло в голову, что неплохо было бы вернуться сюда весной и посмотреть на него, когда оно уже будет в цвету. Но тут я вспомнил, что Роберт велел мне всегда сравнивать моих невест с молодыми деревьями в цвету, и мне расхотелось смотреть в окно.

— Сколько вам лет? — спросил хозяин.

— Тридцать два.

— Я думал, вам лет на десять больше, — сказал он.

— Можете и дальше так думать. Мне это не мешает.

— Да, но мне мешает! — сказал он. — Уж коль скоро вы собираетесь втянуть меня в это дело.

— Но ведь это же прекрасно! — закричал Роберт. — Боже, почему вы ничего не понимаете?! Во-первых, в России еще правил Николай Второй, когда у его невест уже был климакс! А во-вторых, каждая из них хочет, чтобы ее ухажер выглядел, по меньшей мере, такой же развалиной, как она. Нет, вы посмотрите на него, а потом посмотрите на всех этих молодых артистов! Это же дети, этот Делон, и этот Дин, и даже этот идиот Марлон Брандо с мордой, как луна в полнолуние, правда, он еще умеет что-то там показать, но он же один, один на всю эту свору. А теперь посмотрите на него! Нет, вы посмотрите на него, я вас прошу! Да, это больной человек. Но у него не тело большое! У него душа болит! А, да разве вы что-нибудь понимаете в душе?!

Он замолчал. Они все сидели молча и смотрели на меня. Но мне не хотелось смотреть на них; я снова посмотрел на то дерево за окном и вспомнил, что все мои невесты, из которых давно сыплется песок, выглядят, как молодые деревья в цвету. И еще их нужно было сравнивать с соловьиной песней. И с тихим утром, и с чем-то там еще, о чем я забыл, но о чем всегда помнил Роберт.

— Если бы он отрастил волосы, он выглядел бы намного моложе, — сказала хозяйка.

— Он должен выглядеть так, как он выглядит. Это человек, которому наплевать на то, как он выглядит. Чтоб вы знали: я никогда не разрешаю ему пользоваться одеколоном после бритья. Он бреется, потому что это необходимо, но на остальное ему наплевать. Он любит только свою собаку и ту девушку, которая его бросила. — Роберт повернулся ко мне. — Гони снимок!

Я вытащил из кармана фотографию и протянул ее хозяйке. Она поднесла ее к глазам и тотчас вернула.

— Я не знала, что ваша девушка была лысой и имела вставные зубы, — сказала она. — Уж хотя бы не улыбалась.

— Тебя нельзя оставить ни на секунду! — закричал Роберт. — Извините его, он спутал очередность. Это снимок того типа, с которым она его бросила.

— Зачем ему этот снимок?

— Он мазохист, как вы не понимаете? Он ненавидит себя еще больше, чем того человека, который увел его женщину. Вы когда-нибудь думали о самоубийстве? Вы отдавали себе отчет, почему современная психиатрия считает самоубийство выражением высшей ненависти человека к самому себе? Нет?! Ах, вас это не интересовало! Мне вас жаль. Во всей мировой литературе описан всего лишь один случай самоубийства человека, который любил всех — даже паука, ползавшего по стене. Конечно, вы этого не читали. Где же вам понять, что этот снимок — это его первый шаг на пути к смерти!

— И все же я бы советовал ему отрастить волосы, — сказал хозяин и повернулся к жене. — Милочка, принеси нам из холодильника что-нибудь выпить. Я устал.

Она встала и вышла, а я посмотрел на него и усмехнулся. Тогда он тоже усмехнулся.

— Нет, — сказал я, — тебе совершенно незачем усмехаться. Ты полагаешь, что все женщины любят мужчин моложе себя. Но это вовсе не обязательно. Ты судишь по себе, потому что тебе нравятся молоденькие проститутки. Вроде этой.

Я вытащил из кармана фотографию и подал ему.

— Именно поэтому я не мог тебе ее показать при жене, — объяснил я. — Я ничего не спутал. Я просто боялся, что ты не сумеешь сдержать себя, побледнеешь и руки твои станут потными. Я же тебя не знаю. Мне не хотелось рисковать.

Он тяжело перевел дыхание.

— Теперь я вижу, что мы обтяпаем это дело, — сказал он и протянул мне руку. Я пожал ее, а за мной ее пожал Роберт. — Где она сейчас? — спросил он шепотом.

Я не успел ответить; его жена вернулась из кухни и внесла на подносе четыре бокала виски с содовой.

— От одной ему ничего не будет, верно? — спросила она.

— Ладно, — согласился Роберт. — Впрочем, мы все равно уже договорились.

Мы выпили виски и поставили бокалы на поднос. Хозяин помолчал, потирая ладонью темя.

— Видите ли... — начал он, — все, что у нас есть, принадлежит нам обоим. Поровну, мне и жене. Дом, машина, деньги...

— К чему мне это знать? — спросил я. — Я же не собираюсь вас разводить.

— Не в том дело. Дело в том, что деньги, которые я вложу, — это и ее деньги тоже. Значит, и решение должно быть общее. Верно?

—Ну?

— Э-э... ты бы не мог на минутку опустить штаны?

— Слушай, ты же прекрасно знаешь, что я не еврей. В этом же весь интерес. Разные языки, разные ментальности — нет такой идиотки, которой не захотелось бы преодолеть этот барьер.

— Не в том дело! Господи, до чего ты бестолковый!

Я опустил штаны и встал перед ним. В моем бокале еще оставалось немного виски: держа одной рукой опущенные до колен штаны, я медленно протянул другую к подносу, взял бокал и допил свой виски.

— Скажете мне, когда можно будет одеться, — сказал я. — Но если вы собираетесь смотреть долго, то лучше принесите мне еще бокал.

Хозяин посмотрел на свою жену.

— Ну и как? — спросил он.

— Откуда я могу знать? — раздраженно сказала она.

— А кто же должен знать?

— Никогда нельзя знать заранее.

— У тебя же есть глаза!

— Вид еще ничего не значит.

— Откуда ты знаешь?

— В том-то и дело, что я не знаю.

— Как это "не знаешь"? Откуда ты знаешь, что не знаешь?

— А откуда я могу знать?

— Нет, минуточку! Ты же сказала, что не знаешь. Откуда ты можешь знать, какой он в работе?

— Слушайте, дайте мне еще виски, — сказал я. Но они меня не услышали.

— Не знал, что у тебя такой богатый опыт, — процедил он, — Ты мне раньше об этом не говорила. И подумать только, тебе всего двадцать один год!

— Я тебе сказала, что я не знаю.

— Ничего подобного. Ты сказала, что нельзя знать заранее. Откуда ты можешь об этом знать заранее?

— Я же тебе сказала, что именно нельзя знать заранее! — крикнула она.

— Иной раз, когда говорят "не знаю", это значит больше, чем когда говорят, что знают все! — крикнул он.

— Не смей на меня кричать!

— Почему же ты сама кричишь, чтобы я не кричал?! Если уж у тебя такой богатый опыт с мужчинами, то пора тебе знать, что я не из тех, от которых криком чего-нибудь добьешься! — крикнул он.

— Дайте мне еще виски, — повторил я.

— Заткнись! — крикнул он. — Я хочу, чтобы она мне сказала, стоит мне вкладывать свои деньги или нет!

— Твои деньги? — ядовито переспросила она. — С каких это пор у тебя есть деньги? Если бы не мой отец и его деньги, ты бы сегодня еще вкалывал на строительстве за триста фунтов в месяц!

— Твой отец не дал мне и половины того, что обещал.

— Ах, вот как?!

— Что "как"?!

— Значит, ты женился на мне ради денег, — холодно констатировала она. — Я всегда это подозревала, но никогда не хотела об этом говорить. Ну, что ж, спасибо за откровенность.

— И тебе спасибо.

— Еще бы. За те деньги, что мой отец тебе дал...

— Не за деньги спасибо. Спасибо за откровенность. Я сегодня узнал о тебе много нового. Жаль, что ты не сказала мне этого раньше. Так сколько мужчин у тебя было?

— Во всяком случае, меньше, чем денег, которые ты получил у отца! — отрезала она.

Он дал ей пощечину. Я застегнул штаны и пошел в кухню. Бутылка виски стояла в холодильнике; я налил, не скупясь, во все четыре бокала, поставил их на поднос и вернулся в комнату.

— Главное — это спокойствие, — сказал я, — тогда все будет в порядке. Выпейте-ка лучше еще по одной.

Я подал им бокалы и повернулся к хозяину:

— Весьма сожалею, но ты не прав.

— Заткни пасть! — сказал он. — И не вмешивайся не в свои дела!

Хозяйка в слезах выбежала в соседнюю комнату. Хозяин постепенно успокаивался.

— Черт с ним, — сказал он. — Когда она приезжает?

— Через месяц, — сказал Роберт. — Самое большее, через пять недель.

— Ладно, если приедет, мы попробуем провернуть это дело. А сейчас извините меня, я должен пойти к жене. Кажется, я действительно напрасно погорячился.

— Ничего, все уладится, — сказал Роберт.

Мы вышли на улицу. Дождя все еще не было, но когда я глянул в сторону моря, то увидел, что дождь вот-вот начнется и уже не перестанет, видно, до самого утра. Другие смотрят на небо, на солнце, — мне достаточно было посмотреть на море. Море было единственной женщиной, которую я любил. И которой я не должен был говорить, на что она похожа. Вот и сейчас оно потеряло свой обычный зеленый цвет и стало совсем темным, так что белые гребни волн, непрерывно набегавшие с шипеньем на песок пустынного пляжа, совсем не просвечивали на солнце; и все было так, словно женщина, которую я любил, ушла с другим в вечернюю темноту.

— Дурак я все-таки, — сказал я.

— Почему?

— Это моя последняя любовь.

— Море?

— Вот именно.

Роберт остановился, о чем-то задумавшись, и, как всегда, лоб его сразу стал мокрым от пота.

— Знаешь, а ведь ты, в сущности, отвратителен, — сказал я. — Тебе никто не говорил об этом?

— Говорили. Какое это имеет значение? Я думаю, хорошо ли это?

— Что?

— Что ты так любишь море. Знаешь, может, это и в самом деле неплохо! Ты можешь ей сказать: до того, как я встретил тебя... Ну, и так далее. Если, конечно, она родом не с побережья. Мы подадим это так: твоя трагедия в том, что ты, нищий, любишь то единственное, что тебе доступно. И поэтому ты не хочешь расставаться с морем. Да, пожалуй, это неплохо. Тем более что у тебя зеленые глаза. Понимаешь? Люди, которые долго играют на бегах, становятся похожи на лошадей. А твои глаза приобрели цвет моря. Но только это я ей сам скажу.

— Ты ей ничего не скажешь, Роберт.

— За меня не беспокойся. Я ей скажу: ты заметила, что у него глаза цвета моря? И что их цвет меняется в течение дня? Но ты при этом должен отсутствовать. И еще я скажу, что женщина должна быть, как чистый источник... Впрочем, можно сказать — как море. Уж я скажу, не беспокойся.

— Я никогда не стану говорить о море.

— Почему?

— Они того не стоят. У всех у них вместе взятых не наберется столько денег, чтобы заменить мне море. Я тебе не советую даже заводить этот разговор.

Мы поднялись на третий этаж дома на улице Алленби, и Гильденстерн открыл нам дверь.

— Вы-таки опять с грязными ногами? — укоризненно спросил он.

— Нет. Сегодня не было дождя.

— Я знаю? Там лежит тряпка, так вы все-таки лучше оботрите ноги на всякий случай. Когда ботинок сухой, так ковер вытаптывается быстрее. Какие у меня расценки, вы еще помните?

— Два фунта в час, — сказал Роберт.

— Правильно, молодой человек. И я вас очень прошу ходить только по самой середке. Вы же знаете, в тех комнатах, где лежали мои персидские ковры, по всем углам была сплошная мебель. Он должен быть вытоптан только по середке, вы же понимаете!

— Пока что твои персидские ковры лежали только в одной комнате — в том подвале, где ты их изготавливаешь, — сказал я. — Да еще в магазине, где ты их продаешь богачам из Рамат-Авива. Неплохое культурное наследие вывезли евреи из Восточной Европы, а, Гильденстерн?

— Я вас прошу, зачем мы тратим столько времени? — плачущим голосом сказал Гильденстерн. — Два фунта в час, это же уйма денег! А в такое время, в дождливый сезон, — даже страшно подумать!

— У вас много работы? — спросил Роберт.

— На пару дней. Если что, так я вам потом опять дам знать.

Мы вошли в комнату и развернули на полу один из ковров; их там стояло несколько у стены. И стали ходить: три больших шага от края ковра к середине; а потом мелкими шажками, топчась, от середины к краю. Два дня таких прогулок, и ковер начинал выглядеть как старинный персидский. Прохаживаясь, мы слышали, как внизу, в мастерской, стучит ткацкий станок, — именно там и делали эти персидские ковры.

— Жаль, нет здесь Президента Зискинда, — сказал я.

— Я тебя умоляю, перестань о нем говорить. Я еще до него доберусь!

— Я не о том. Я подумал, что уж он-то наверняка купил бы у Гильденстерна персидский ковер. Как только вы отхватили бы первый миллион за свою картину.

— Боюсь, что мы не дотянем до конца месяца, — пробурчал Роберт. — У нас с тобой всего двести фунтов и еще эти два дня ковров.

— Кто тебе сказал, что у нас с тобой двести фунтов? — поинтересовался я.

Роберт даже остановился.

— Ты же сказал, что заработал двести фунтов!

— Сказал. Но это вовсе не означает, что у нас с тобой есть двести фунтов. Это у меня есть двести фунтов.

— Неужели ты бросишь старого друга в трудную минуту? Теперь остановился я.

— Послушай, но ведь у тебя же есть прекрасная должность, — удивился я. — Если не ошибаюсь, ты что-то вроде личного консультанта Президента Зискинда по художественным вопросам, не так ли? Кроме того, ты по совместительству администратор, сценарист и еще кто-то там, уж не помню кто, но тоже наверняка пахнет уголовщиной. Я тебя абсолютно не понимаю! Зачем тебе еще деньги? Мне так в жизни не предлагали звания консультанта!

Дверь открылась, и вошел Гильденстерн. Он застыл на пороге с выражением немного отчаяния на лице — точь-в-точь, как статуя Командора в той дребедени про Дон-Жуана.

— Господин Роберт, я вас умоляю, пожалуйста, без шуток! — сказал он. — Что, вы не можете ссориться на ходу? Боже, почему я всегда должен терпеть сплошные убытки?! Я вас умоляю, ходите только посередке!

Он вышел, а мы снова начали свое хождение: три больших шага и потом топтанье мелкими шажками.

— Слушай, Роберт, — сказал я. — Давай ходить, как в американской дуэли. Сходиться посередине, поворачиваться друг к другу спиной и расходиться.

— Откуда ты знаешь, что в американской дуэли так делают?

— Мне сказал Син, наш миссионер.

— Какие у него странные темы для миссионера...

— Ты же знаешь, ему не удалось обратить ни одного еврея в христианство. Должен же он о чем-нибудь говорить по вечерам, когда мы с ним пьем.

— Что он вообще тут сидит?

— Ждет корабля, чтобы вернуться в Канаду. Его отзывают. Ему еще месяц ждать.

Роберт опять остановился.

— Еще месяц?

— Угм. Они возвращаются морем, так дешевле.

— То есть как раз тогда, когда мы отправимся в Эйлат? Из соседней комнаты застучали в стенку.

— Господа, прошу вас, не надо останавливаться!

Роберт сделал шаг, и мы встретились посередине ковра, повернулись спинами друг к другу и разошлись.

— Это великолепно! — возбужденно сказал Роберт.

— Что именно?

— Ему нужно обратить хотя бы одного человека!

— Да, но он не обратил ни одного. Его жена мне рассказывала. Каждый раз, когда я притаскиваю его мертвецки пьяного в номер, она мне рассказывает, как он проповедовал, а слушатели смеялись над ним и свистели. Потом все они расходились по домам, а она смотрела, как он остается один. Смех и свист — вот все ее воспоминания об Израиле. Да еще его глупая физиономия, когда он остается один. И ни единого обращенного.

— Прекрасно! — воскликнул Роберт.

— Не для него. И не для меня.

— Именно для нас. Именно для тебя и для меня. Слушай, он знает, что ты католик?

— Мы как-то ни разу об этом не говорили. Я думаю, он боялся спрашивать.

— Ты должен дать себя обратить! Ты понял?

— Я уже тридцать два года как обращенный.

— Господи, какое это имеет значение?! Важно, что он об этом не знает!

— Я не понимаю, какая нам от этого выгода?

— Как ты не понимаешь?! Он же тебе последний грош отдаст, если ты согласишься перейти в христианство! Он с тобой поделится всем, что у него есть, лишь бы иметь хотя бы одного обращенного. И ты, — понимаешь, ты! — будешь этим его обращенным в Яффо!

— Почему именно я? Кто из нас двоих еврей, в конце концов?

— Я не могу. По ходу дела придется трахнуть его жену. Ты уж извини. Я понимаю, что тебе это неприятно.

— Задаром?!

— Кто тебе сказал, что задаром?

— А кто же будет платить?

— Как это кто? Ты что, ребенок? Не видишь, что происходит? Она же его ненавидит. Ты только представь себе, сколько она из-за него перенесла унижений?! Неужели ты останешься глух к страданиям женщины? Представляешь, что она переживала, когда видела, как он говорит о Боге, а эти люди в зале смеются и свистят?! Это же все-таки ее муж, как-никак! И все это ей пришлось перенести. Почему ты такой бессердечный?!

— Я все понимаю, — сказал я. — Я только не понимаю, почему я должен трахнуть ее задаром?

— Боже, кто тебе это сказал?! — закричал Роберт. — Может быть, я тебе это сказал? Может быть, я уже совсем идиот, а?! Может быть, я еще вздумаю развести ее с ним и выдать за тебя, а?! По-твоему, я такой идиот? Нет, ты скажи, может быть, я идиот?! Она его ненавидит, ты согласен? Ей ты скажешь, что ты католик. Ты получишь ее тело, а она начнет его уговаривать, чтобы он поделился с тобой деньгами. Ты перейдешь в христианство, он получит своего обращенного, потом мы отправимся в Эйлат, а они отправятся в свою Канаду, и все будут довольны. Кроме того, это будет полезно для тебя. Ты уже давно не практиковался. Теперь тебе представляется прекрасный случай. Ты сможешь драматически развернуться, углубить свой талант и вдобавок сохранить форму. Ты подумай: у нас с тобой двести фунтов. Номер обойдется нам в сто двадцать. И еще месяц нужно как-то жить. Остается по сорок фунтов на жратву на каждого. Как ты собираешься уложиться в сорок фунтов? Он поделится с тобой всем, что у него есть. Он поделится с тобой своими деньгами, ты поделишься с ним его женой, жена будет уговаривать его укреплять в тебе веру, и так незаметно мы протянем этот месяц. Он будет доволен, католическая церковь будет довольна, она будет довольна, что отомстила ему за его ничтожество, и все расстанутся с поцелуями.

— Но мне не нравится его жена...

— Может быть, ты думаешь, что мне она нравится? Я

забочусь только о тебе. Ты углубишь свой талант, ты будешь беседовать с ним о Боге, о вечности, а между делом — ураган страсти... Когда его не будет в гостинице, разумеется.

— Это ты мне уже объяснил, — напомнил я.

— Прежде всего ты должен заняться ею. И не забывай, пожалуйста, чему я тебя всегда учил: не тарыхти, когда произносишь диалог. Помни, это должно звучать, как твои собственные слова, а не то, что я для тебя придумал. И никогда не смотри ей прямо в глаза. Старайся смотреть куда-нибудь в угол. Не спеши. Начнешь спешить, все пойдет прахом. Она подумает, что тебя интересует только как бы поскорее ее трахнуть. А ведь ты же жаждешь духовного слияния, не так ли?! Не торопись, двигайся неловко, можешь даже свалить какую-нибудь пепельницу, что-нибудь в этом роде. Женщины любят мужчин, которые не признают своего обаяния, которые стесняются самих себя. Ты посмотри на Гарри Купера. Не такой уж большой артист, верно? А сколько обаяния? Или Джон Уэйн? А теперь глянь на этого Алена Делона. Все его обаяние — это сплошная фальшивка. Это подделка. Он прекрасно сознает, что он красив, и женщины чувствуют, что он это сознает. А женщины, понимаешь, любят открывать мужчину сами. Тут то же самое: ты должен дать ей самой открыть тебя. Пусть потом, ночью, в постели, она вещает тебе истины, которые ты знал уже шестнадцатилетним она-нистом...

Он вдруг остановился, и я остановился тоже. Мы смотрели друг на друга, но я мог бы дать голову на отсечение, что он меня не видит: глаза у него были слепые и пустые.

— Плохо, — без всякого выражения сказал он. — Никуда не годится. Забудь все, что я тебе говорил. Все наоборот. Ты должен быть полной противоположностью этого засранца, ее мужа! Ты должен ворваться в ее жизнь, как ураган, понял? И когда она увидит твои прищуренные глаза и узкий рот... только, ради Бога, не изображай кривую улыбку, это у тебя еще не отработано... Зато глаза у тебя жестокие, это ты умеешь. И не бойся, не получишь в морду. А если получишь, тем лучше — дашь ей сдачи. Ведь ты у нас ураган страсти, воплощение грубой силы! А в последнюю минуту

она должна вспомнить о нем — одиноком, осмеянном, осви-стенном. О человеке, который пытался воззвать к Богу и привести его к этим людям...

Дверь отворилась и вошел Гильденстерн.

— Я-таки не знаю, кто кого хотел призвать и что такое случилось, что тот не пришел, — сказал он. — Но что я да знаю, что вы должны ходить и что я вам плачу два фунта в час, а вы все время разговариваете.

Роберт гневно повернулся к нему.

— Господин Гильденстерн! — В голосе его звучал металл. — Тут говорят о Боге! Неужели вы не можете хоть на минуту забыть о своих засранных коврах, когда мы с ним разговариваем о Боге? Вы понимаете — о Боге!

— Но я же вам плачу не за то, чтобы вы разговаривали на религиозные темы, — сказал Гильденстерн. — Я же вам плачу, чтобы вы ходили.

Он уже собрался было выйти, но остановился в дверях и посмотрел на Роберта:

— Вы тоже верите в Бога, господин Роберт? — спросил он.

— Я всегда в него верил! — патетически воскликнул Роберт. — Он у меня в сердце!

— Значит, по-вашему, Бог везде с человеком?

— Именно так!

— А когда человек идет в газовую камеру, как Бог оттуда выходит? — задумчиво спросил Гильденстерн. — Я вас умоляю, не надо останавливаться. Он же у вас в сердце. Так какая ему разница, ходите вы или разговариваете о нем на одном месте?

И он вышел.

— Все равно мне не нравится, что я должен буду трахнуть его жену задаром, — мрачно сказал я.

— Господи, да поступи ты хоть раз в жизни бескорыстно! — закричал Роберт. — Почему ты не хочешь, чтобы ему хоть раз в жизни повезло?! Почему ты хочешь, чтобы он уехал отсюда всеобщим посмешищем?!

— Я ничего не хочу. Я только не понимаю, почему я должен трахнуть ее задаром...

— Я тебя умоляю, не учи меня жить. Это нужно для цельности замысла. Она за то будет его понуждать, чтобы он тебе помог. И он, конечно, поможет. С одной стороны, ему хочется иметь хотя бы одного обращенного, а с другой — как-нибудь подняться в ее глазах. Я понимаю, почему с тобой всегда так трудно. Ты мыслишь слишком прямолинейно. А подлинное искусство — это сплошные полутона, это сама неуловимость! Вспомни Ставрогина, как он говорил, что если бы ему математически доказали, что Бога нет, он предпочел бы остаться с Богом, а не с математической истиной! Понимаешь? И вообще, что ты к ней имеешь? Милая, приятная, чистая женщина...

— Только не вздумай говорить, что она похожа на молодое деревце весной, если не хочешь получить по морде!

— Ну, хорошо, ну пусть не как молодое деревце.

— Если ты сравнишь ее с морем, я тебе тоже врежу, — предупредил я. — И если ты сравнишь ее с соловьиной песней, будет то же самое. И если ты попробуешь сравнить ее с тихим майским садом, ты получишь тоже. Что там еще у нас осталось?

— Ты идиот! Это все — для наших платных баб. Для тех, что в Эйлате. С этой слова не потребуются. Ты войдешь и станешь в дверях. И скажешь роковым голосом: "Мне все равно, что будет потом. Но ты сама знала, что это должно случиться..." И не забудь, пожалуйста, о своем взгляде. Смотри на нее с ненавистью. Я тебя умоляю, ничего, кроме ненависти. Она молодая, чистая, добрая, а ты...

— Кто я — это я сам знаю, — сказал я.

x x x

Когда я спустился вниз, Гарри сидел за конторкой и читал свою книгу, а Син сидел рядом с ним, и в его бутылке оставалось не так уж много. Я подумал, что через час он уже совсем созреет, а если не созреет, то наверху, в номере, у меня было еще две бутылки того же "Стока-84", который мы

с ним всегда пили по вечерам. И впереди у меня был еще месяц, и только потом настанет время сделать перерыв на пару дней и начать курс "Диамокса", чтоб избавиться от отеков.

— Син, — сказал я, садясь рядом с ним. — Я хотел тебя кое о чем спросить. Объясни мне, почему евангелия отличаются друг от друга?

Он поднял голову:

— Откуда ты об этом знаешь?

— Я где-то читал. Почему в одном евангелии Христос жалуется, что Бог его оставил, а в остальных он принимает смерть покорно, без всяких жалоб?

— Когда я учился в семинарии, — задумчиво сказал он, — я тоже задавал этот вопрос. И тогда тот, что нас учил, прочел нам целую лекцию об Иудее. Только об Иудее, ничего больше. А через три недели он велел, чтобы каждый повторил то, что он рассказывал. И каждый рассказывал по-другому. Тогда он сказал: видите, уже через три недели вы не можете правильно восстановить то, что я вам говорил. А Христос умер две тысячи лет назад.

— Но ведь он был сыном Божьим. Он мог сделать так, чтобы его отпустили. Он мог всех их уничтожить.

— Он не хотел, чтобы его любили за силу. Он хотел, чтобы его любили за милосердие и за то добро, которое он совершил на земле. Поэтому он согласился умереть. Откуда у тебя эти мысли?

Я не ответил; я отвернулся и посмотрел на обложку книги, которую читал Гарри. Я помнил наставления Роберта: говорить медленно и путанно...

— погоди, Син, — сказал я наконец. — Я принесу сигареты.

Я поднялся в номер к Роберту. Роберт стоял у окна; я подошел к нему и увидел негра Ибрагима, который стоял на углу, отвернувшись лицом к стене. И мне снова представилось дерево в долине, где никогда не бывает ветра и не шелохнется ни один листок.

— Почему он так стоит?

— Может, он видит что-нибудь такое, чего мы не видим.

— Но ведь он же смотрит на стену.

— Да выбрось ты его из головы. Как там дела?

— Я забыл, что нужно говорить о Иуде и Варавве.

Он повернулся ко мне:

— Тебя нельзя ни на секунду оставить одного. Ты должен спросить, почему Иуда предал Христа...

— Верно, я уже вспомнил. Скажи мне, почему он стоит лицом к стене и не оборачивается?

— А зачем ему оборачиваться? Может, ему как раз хорошо, что он никого не видит.

— Я бы тоже хотел так.

— Не забивай себе голову. Лучше послушай: когда будешь говорить о Боге, не впадай в излишний экстаз. Помни, ты еще только ищешь его...

— И найду в тот день, когда мы купим новую собаку и уедем в Эйлат, верно?

Я спустился вниз, но Сина не было.

— Где он? — спросил я у Гарри.

— Он тоже пошел за сигаретами, — сказал Гарри. — Послушай, Роберт мне рассказал, что вы задумали. Это свинство.

— Можешь рассказать Сину.

— Может, и расскажу.

— Слушай, Гарри. Я в этой гостинице ищу Бога. А пока что нашел только номер, который портье сдает проституткам на то время, что меня нет. Одна из них по ошибке оставила там рваные чулки. Но почему-то ни хозяин гостиницы, ни полиция об этом не знают. Ты не знаешь, случайно, почему?

— Сделать тебе крепкого чаю? Это помогает.

— Не нужно. Я себя прекрасно чувствую.

— Задаром, — сказал Гарри. — Мы же с тобой старые приятели. Чаю с лимоном, а?

— Читай лучше свою книжку.

— Я только пошутил... Насчет свинства...

— Я так и понял.

Вернулся Син. Он уселся в своем кресле, а я посмотрел на него, а потом на Гарри.

— Слушай, Гарри, — сказал я, — принеси-ка мне кресло. На что это похоже, чтобы человеку приходилось сидеть на столе...

Гарри встал и пошел за креслом. В этот момент вошла Луиза. Она остановилась на пороге.

— Поверни лампу к стене, — попросила она.

— Лучше я ее совсем погашу, и ты сможешь подняться.

— Нет. Я хочу показать ему свою фотографию, — сказала она.

Я понял, что она уже готова. По вечерам она ходила в кафе на углу и сидела там, забившись в такое место, где ее никто не мог видеть.

— Ты уже показывала, — сказал я. — Не далее, как вчера. Ты уже сделала копию?

— Нет. Я боюсь. Пожалуйста, погаси свет, я пойду к себе.

Я погасил свет, и она прошла мимо нас, а когда я услышал, как она открывает дверь у себя наверху, я снова зажег лампу. Гарри вернулся и поставил мне кресло.

— Есть одна вещь, которую я никак не понимаю, — произнес я, обращаясь к Сину. — Я читал какую-то книгу, не помню названия, и там говорилось, что Иуда любил Христа больше всех других учеников, но он не верил в успех того дела, за которое боролся Иисус. Он больше верил в то дело, за которое боролся Варавва, и думал, что под пытками Христос совершит чудо и освободит страну.

— Это только гипотеза, — ответил Син. — Во всех канонических евангелиях нет ни слова о связях между Иудой и Вараввой.

И он был прав: эту басню выдумал Роберт с некоторой помощью с моей стороны. У Роберта слезы стояли в глазах, когда он изображал, что переживал Иуда, когда понял, что предательство всегда остается предательством. Он даже всхлипнул — неожиданно и отрывисто, — и тогда я понял, что Роберт — алкоголик и что он тайком от меня прикладывает к бутылке: только алкоголики способны так внезапно разрыдаться и тотчас успокоиться.

— И все-таки я верю, что Иуда больше всех любил Христа, — сказал я. — И это не дает мне покоя. Почему, когда Христос умер, один только Иуда покончил с собой? А тот, второй, Петр, отрекся от Христа и все равно не наложил на себя руки?..

— Почему это не дает тебе покоя?

— Я как-то не могу тебе объяснить, вот так, в нескольких словах, — сказал я. — Пришлось бы рассказать тебе всю мою жизнь, чтобы ты понял. Но иногда я думаю иначе. Иногда я думаю, что, может, из всех учеников Иуда любил его больше всех и ненавидел себя за то, что не может любить его еще больше и отказаться от своей веры в насилие и в Варавву...

— Ты прочел "Деяния Апостолов"?

— Да, — ответил я. — Но не было человека, который объяснил бы мне то, чего я не понял.

— Я готов объяснить тебе все, что тебя интересует.

— Жаль, поздно мы встретились, Син, — сказал я. — Через пару дней мне нужно уезжать в Эйлат. Я нашел работу в Тимне, на рудниках. — Я встал и протянул ему руку. — О'кэй, Син. Мне жаль, что наше знакомство было таким коротким. Я бы хотел креститься у тебя.

Стакан, который он держал в руке, упал на пол. Это были остатки его бренди.

— Ты ... хочешь креститься? — спросил он.

— Да.

— Почему же ты ждал так долго?

— Син, — сказал я. — Если человеку суждено обрести Христа, он может ждать его всю жизнь. Мне тридцать третий год. Христос в моем возрасте умер, а я в его возрасте хочу начать жить по его заветам. погоди, я принесу еще бутылку.

Я поднялся наверх. Роберт все еще стоял у окна. Когда я вошел, он обернулся:

— До чего вы уже добрались?

— До Нагорной проповеди.

— Ты помнишь, что дальше?

Опять эта тягомотина насчет Иуды и Вараввы...

— Идиот! — прервал, он, поблдевав от злости. — Теперь ты должен сказать: я понял, что Бог — то единственное, что можно любить вечно. Господи, почему тебя нельзя ни на секунду оставить одного?

— Потому, что то, что ты сказал, это цитата из Достоевского. Он может сообразить.

— Ничего он не может сообразить! Никто не говорит своими словами! Тысячи лет люди только и делают, что повторяют мерзости, которые были сказаны до них. Неужели ты не понимаешь, что, если бы Бог на самом деле существовал, нас с тобой не было бы на этом свете!

Я подошел к нему вплотную и почувствовал тяжелый запах алкоголя, который шел от него.

— Так я и думал, что ты тут втихаря накачиваешься, — сказал я. — Впрочем, это твое дело. Я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что, может, все происходит так, как оно происходит, и мы с тобой еще живем на свете именно потому, что Бог есть. А может — совсем наоборот. Или, может, мы оба правы.

— Вот кто прав! — сказал Роберт и показал на Ибрагима, который стоял лицом к стене и не оборачивался, даже когда мимо проходили женщины и мужчины толкали его на ходу. — Во всем этом засранном городе один только этот человек прав.

— Ладно. Что я там должен говорить дальше?

— Что Бог — единственное, что можно любить вечно.

Я взял бутылку и подошел к двери, но снова обернулся и посмотрел на его потное, искаженное лицо.

— Если я когда-нибудь смогу тебя застрелить, я это сделаю, — сказал я. — Если только когда-нибудь смогу.

— А что тебе мешает?

— Найди мне человека, который даст за тебя восемьдесят или сто фунтов. Столько мы платим за собаку. Если я найду такого, я это сделаю. А потом отправлюсь за тобой.

— Знаешь, — медленно сказал Роберт, — а это неплохо. Это можно использовать в Эйлате. Очень даже неплохо. Ты скажешь своей курве: "Эта собака стоила мне восемьдесят фунтов". Нет, лучше сто. Потом покажешь на меня и скажешь: "А этот поденок не стоит и двадцати". И разрядишь обойму.

— В кого?

— Нет, с меня довольно, — сказал Роберт. — Иди наконец вниз и продолжай. Я тут весь изнервничался. Но то, что ты сейчас сказал, очень даже неплохо. Остается повторить это

твоей образине в Эйлате — и готово! — Он подошел к шкафу и достал бумагу и карандаш. — Это надо записать. Мы с тобой оба устали, еще забудем. Надо будет это еще разок пропетировать.

Он сел за стол, а я с бутылкой "84" спустился вниз и сел рядом с Сином.

— Как ты насчет того, чтобы выпить? — спросил я.

Он кивнул, и я налил ему в стакан. Но он к нему не прикоснулся. Он смотрел на меня, словно видел меня первый раз в жизни, да и то — где-нибудь в метро в первом часу ночи. А ведь мы были знакомы уже больше недели.

— Что с тобой, Син? — испугался я.

— Почему тебя не было так долго?

— Никак не мог найти эту паршивую бутылку. Думал, она в чемодане, а она была в шкафу. Я ведь уже запаковал вещи.

— Почему ты ждал так долго?

— Ты имеешь в виду — крещение?

— Да.

— Син, — сказал я. — Я еврей, и, чтобы выехать оттуда, где я родился, я должен был выехать, как еврей. У меня на родине жизнь не из приятных. — Я поднес стакан к губам, но в последнюю минуту поставил его обратно и наклонился к Сину. — Только здесь, в этой стране, я понял, что не хочу жить без Христа.

— Когда ты хочешь креститься?

— В тот день, когда мне исполнится тридцать три.

И я назвал ему дату; это был день нашего отъезда в Эйлат.

— Ты не хочешь креститься у меня?

— Меня здесь не будет. Я должен ехать в Эйлат. Меня ждет работа.

— В Эйлате нет ни одного христианского священника, — сказал Син. — Ты не можешь вернуться сюда?

— Нет, Син. Кто же даст мне отпуск после месяца работы?

— Странное совпадение, — сказал он. — Я тоже на следующий день уезжаю — в Канаду.

— Что поделаешь, Син, — сказал я. — Я тебя всегда буду помнить. Постарайся поменьше пить у себя в Канаде. — Я под-

нес стакан ко рту и опять опустил. — Син, правда, что Христа распяли совсем не на таком кресте, какой мы привыкли видеть? Будто в те времена были кресты трех видов?

— Я читал об этом, — сказал он. — Какое это имеет значение? Он обратил миллионы людей. Он умирал счастливейшим человеком на земле. Такого счастливого человека никогда уже не будет.

На этот раз я залпом выпил свой бренди и со стуком поставил стакан на стол. Гарри даже вздрогнул.

— Черт, я еще столько хотел узнать, а там мне этого никто не объяснит!

— Теперь ты знаешь самое главное,— сказал он. — Хочешь, я повторю: не было и не будет на земле человека счастливее Иисуса.

Я коснулся его локтя, и он повернул ко мне лицо: слезы текли по его загорелым щекам.

— Почему ты так говоришь?

— Ну, пусть евангелия различаются! Пусть даже он жаловался, но ведь он обратил миллионы людей! Да на него плевали, прибивали его гвоздями, подавали цикуту, осыпали оскорблениями, — но над ним ... не смеялись!!

— Над ним тоже смеялись. Тыкали в него пальцами и смеялись: вот Иисус из Назарета, царь иудейский.

— Нет. Он не нуждался в микрофонах, ему не нужен был арендованный зал, где люди слушают тебя, удобно устроившись в креслах; ему не нужны были рекламные плакаты, ему не платили за выступления! У меня все это было. Но я ничего не сумел сделать!

— Ты боишься, что Бог тебя оставил? — спросил я.

— Я прожил здесь больше года. Я не обратил ни единого человека!

— Ты обратил меня, — медленно сказал я.

Он обернулся ко мне, и я снова увидел слезы, стекающие по его щекам.

— Я?..

— Да, ты, — повторил я. — Когда я впервые увидел, как ты здесь сидишь и пьешь в одиночку, я сел рядом с тобой. А по-

том я пошел в номер, но всю ночь не мог заснуть. Я думал о Боге. И еще я думал о том, существует ли на свете милосердие. В ту ночь человек, которого я очень любил, попал в тяжелую автомобильную катастрофу. Этот человек однажды накормил меня, когда я был голоден, и не отвернулся, когда я пришел к нему просить работу. Я был тогда худой, я запаршивел, как бездомная собака, но он не сказал мне ни слова. Я тебе скажу: если я сегодня еще живу и могу работать, то все потому, что тот человек не сделал тогда ничего. В ту ночь я умолял Бога: пощади, не убивай его. Пусть живет сто лет, и пусть проживет их, как я. И пусть вспоминает о милосердии так же часто, как я. Ему переломало кости, и я вспомнил Христа, которого пытали, и взмолился к Христу, чтобы он его спас.

— Син, правда, что Христу раздробили кости?

— Это было две тысячи лет назад. Но его не пощадили.

— Того человека тоже. Я думаю, он мучился так же, как Христос. И поэтому я молил Христа, чтобы он позволил ему еще сто лет вспоминать о милосердии. — Я помолчал, а потом добавил. — Только ему не давали цикуту. Ему бросили курицу.

— Какую курицу?

— Обыкновенную. Когда он свалился с обрыва, какой-то человек хотел его спасти, а в автомобиле у него ничего не было, и тогда он швырнул ему жареную курицу, которую купил для себя в дорогу. Он дал ему поесть. Знаешь, люди всегда думают, что если человеку плохо, то нужно прежде всего дать ему поесть. Понятия не имею, почему они так думают. Налить тебе еще, Син?

— Нет, — сказал он и отставил стакан. — Я буду сегодня молиться. За того человека, который бросил курицу. Ты не знаешь, кто это был?

— Этого, к счастью, никто не знает, — ответил я.

— Впрочем, какое это имеет значение.

— Это имеет большое значение, Син.

— Ты меня не понял. Если тот человек бросил ему свою дурацкую курицу, он, наверно, сделает то же самое и в другой раз. И будет поступать так всегда, раз уж он таким родился. Я буду молиться, чтобы он всегда мог так поступать.

— Молись, Син, — сказал я. — А я пойду спать. Нужно отдохнуть перед дорогой.

— Не надо! — сказал он с силой. — Не уезжай! Остайся! Я сам крещу тебя!

— Послушай, ты мог бы приехать ко мне в Эйлат.

— В Эйлате нет церкви. А я хотел бы окрестить тебя в церкви. Ты ведь сказал, что не сможешь приехать через месяц.

— Я бы охотно остался, Син. Но, понимаешь, у меня нет ни гроша.

— Я поделюсь с тобой всем, что у меня есть, — сказал он и торопливо поднялся. — А теперь иди. Я хочу помолиться. Я тоже встал.

— Будешь молиться за того человека на дороге?

— Буду молиться, чтобы он мог поступать так вечно, — произнес он и, подойдя ко мне, порывисто поцеловал меня в лоб. — Спи с Богом, сын мой.

— Как я должен называть тебя? "Отец"?

— Нет. Это ни к чему. Не следует называть священника "отцом". Есть только один Отец — там...

Я взял бутылку и поднялся вверх. Роберт уже спал. Я подошел к окну и подумал о том человеке; о том, что в иерусалимском госпитале уже потеряли надежду, хотя сначала сказали, что он выпутается, только будет носить корсет; но это оказалось для него слишком хорошо. Теперь ему оставалось еще три недели агонии, потому что его большое и крепкое тело не хотело умирать; и его кололи долантинном каждые восемь часов, но врачи сказали, что с завтрашнего дня начнут давать ему морфий или клиридон, потому что долантин на него уже не действовал.

Стоя у окна, я медленно допивал свой бренди, смотрел на Ибрагима и никак не мог отделаться от мысли о дереве в безветренной долине. Он стоял неподвижно, втянув голову в плечи и повернувшись лицом к пустой стене, и я вдруг

понял, что не смогу уснуть, если он будет так стоять там всю ночь. Я уже был изрядно под мухой. Поэтому я взял все свои деньги, спустился вниз и под дождем перешел улицу.

— Ибрагим, — сказал я, стоя позади него. — Это я, специалист по собакам. Тут у меня двести фунтов. Возьми их себе, только ради Бога, уйди ты отсюда!

Он не ответил. Он не пошевелился, даже когда я положил ему руку на плечо.

— Ибрагим, — сказал я. — Тут все, что у меня есть. Эти деньги мне уплатили за то, что я прикончил на шоссе одного такого, который не оборачивался к людям лицом. А до этого мне платили женщины. А еще раньше у меня была одна, которая ходила в город, а потом выпрыгнула в окно. Только, видишь ли, это все время те же самые двести фунтов, Ибрагим. И больше у меня ничего нет. Возьми их, только повернись, ради Бога...

Я стоял и смотрел на его черную, крохотную голову в шапке курчавых волос, которые оставались жесткими даже сейчас, под проливным дождем. На всякий случай я протянул руку и пощупал их — они действительно были жесткими и курчавыми, как обычно на солнце.

Не оборачиваясь, все такой же неподвижный и застывший, он тихо произнес:

— Пошел вон!

И я побрел под дождем обратно в гостиницу.

x x x

В четыре пополудни, как и накануне, мы начали свою работу у Гильденстерна; вытащили из угла опять очередной ковер и расстелили его на полу. Те двое, которые работали до четырех и которых мы сменили, казались измочаленными вконец.

— Лучше уж вкалывать по восемь часов на стройке, чем топтать эти ковры, — сказал один.

— Это точно, — поддакнул второй.

— Чего ж вы не идете на стройку? — поинтересовался Роберт.

Он как раз снимал туфли; сегодня Гильденстерн выдал нам специальную обувь, вроде той, которую носят дорожные рабочие. Она стоила восемь фунтов пара, и поэтому Гильденстерн подбирал себе топтальщиков с одинаковым размером ноги.

— Мы ничего другого не умеем, — сказал один из них.

— А что вы делали раньше? — спросил я.

— Служили в полиции.

— В политической?

— В какой же еще!

— И пытали людей?

— Мы исполняли приказы, — угрюмо ответил он и повернулся к своему товарищу. — Верно, господин полковник?

— Между нами говоря, вы несколько излишне усердствовали, — ответил тот. — Эта ваша выдумка с утюгом была совершенно дурацкой.

— Что он придумал? — спросил я. — Гладить подследственным брюки?

— Нет. Он додумался, как их приводить в себя, когда они теряли сознание. Идея была неплохая, но грубоватая.

— Ничего, не падайте духом, — утешил его я. — Вы еще пригодитесь. Такие, как вы, всегда нужны.

— Дай Бог, — вздохнул полковник.

Они попрощались и вышли, а мы с Робертом пустились в свой путь: от края ковра к середине и опять к краю. Я вдруг вспомнил, кто рассказал мне об американской дуэли, — Качановский.

— Знаешь, Роберт, — сказал я, — кто рассказал мне об американской дуэли? Качановский. Это было в Париже. Я его встретил и позвал на кальвадос, а он уже был слегка под мухой. Мы пошли с ним в "Богему", но не в ту, что на рю д'Одесса, а в ту, что на рю д'Одеон. И там Витек заказал четырнадцать двойных, и мы с ним поставили по семь стаканов в ряд и сели друг против друга, и Витек мне сказал: "Встретимся посередине и с копыт долой!" Так оно и получилось, а на другой день хозяин мне сказал, что Франция не видывала ничего подобного со времен Неистового Роланда.

— Не называй его "Неистовый Роланд". Лучше говори — "Орlando Фуриозо".

— Разве это не одно и то же?

— Конечно, нет! Когда будешь рассказывать эту историю своей невесте в Эйлате, скажи, пожалуйста, "Орlando Фуриозо". По-твоему, это чепуха, но на женщину это производит сильное впечатление. Молодой человек с классическим образованием — и вынужден торчать в такой дыре.

— Эйлат вовсе не дыра. Это одно из красивейших мест на свете. Кстати, что там делает молодой человек с классическим образованием?

— Ищет работу на рудниках. И поскольку он из Европы, то через два года он превратится в развалину. У него выпадут волосы, зубы, вырастет огромный живот. От него будет разить как от всех, кто непрерывно хлещет пиво. Но ему придется пить, чтобы выжить в этом чудовищном климате...

— Не согласен, — быстро сказал я, вспомнив поношенную морду Вице-Президента Алфавита. — Чтобы разило, не согласен!

— Дурак, это же не ты будешь рассказывать. Это мои слова. Ты вообще ничего не будешь говорить о климате. Наоборот, ты криво улыбнешься и процедишь сквозь зубы, что температура достигает семидесяти градусов в тени, но всегда можно охладиться, если надоест.

— Мне уже надоело. Мне уже давно надоело.

— Это еще цветочки. Подожди, вот приедем в Эйлат. Там ты поймешь, что такое пекло. Ну, а насчет крокодилов — это расскажу я.

— Каких еще крокодилов?

— Тех, что в море. Они обожают человечину.

— Слушай, может, я лучше застрелюсь? Или отравлюсь снотворным?

— Ерунда! Ты же настоящий мужчина. И покончить с собой ты хочешь по-мужски. Застрелиться каждый дурак может. Ты для этого слишком сильный и смелый мужчина. Ты отдашь свою судьбу в руки природы. Но это так, предварительные наброски. У нас еще есть время. Самое важное — втолковать ей, что с тобой произойдет после двух лет жизни

в Эйлате, внушить ей образ: трясущаяся развалина с гнилыми зубами и мерзким запахом изо рта, которая выпрашивает деньги на глоток коньяка.

— Мы говорили о пиве.

— Постепенно ты перейдешь на чистый спирт. Тебе остерегают люди, и ты захочешь одиночества. Мы создадим образ совершенно нетипичного алкоголика. Обычным для выпивки нужна компания, а тебе — одиночество. Положись на меня. В Эйлате есть парочка таких типов. Уж я постараюсь, чтобы она их увидела.

— Знаешь, только один человек в мире мог бы изобразить такую мерзость, как ты, — сказал я. — Витек Качановский.

Роберт застыл, о чем-то размышляя; я тоже остановился и закурил. Мы стряхивали пепел на ковер и втапывали его в ворс; таким манером ковер быстрее доходил до кондиции. Это была выдумка Гильденстерна.

— Вряд ли это удастся использовать... — сказал Роберт. — Что?

— Да вот это... Что только один человек в мире мог бы меня нарисовать. Он подошел к зеркалу и уставился на свое изображение; я тоже смотрел на его потное, бесформенное лицо. — Знаешь, я могу, пожалуй, сказать, что я тоже прожил два года в Эйлате. — Он оскалил зубы и придирчиво исследовал свое лицо.

Я заметил, что он начинает лысеть.

— Точно! Я могу сказать, что когда-то выглядел так же, как ты. Тут я саркастически усмехнусь и скажу: "Но ты, конечно, этому не поверишь. Во всем Израиле не найдется человека, который этому поверит. И самое забавное, — что я сам начинаю в этом сомневаться". Неплохо, а? Потом я покажу на тебя и добавлю: "Через два года ему уже не понадобится зеркало. Ему достаточно будет взглянуть на меня". Ну как, пойдет? А?

Дверь отворилась и вошел Гильденстерн. Он остановился у входа и укоризненно посмотрел на Роберта.

— Господин Хласко, я вас умоляю — не надо искусства, — сказал он. — Вчера вы целый день разговаривали о Боге, а сегодня я слышу, что вы себе разговариваете про искус-

ство. Ну что вам стоит поговорить о деньгах, как все порядочные люди? С таким разговором ходить одно удовольствие.

— Мы только о деньгах и говорим, — сказал я. — И, кстати, у нас кончились сигареты.

Он зажег верхний свет и посмотрел на ковер. Я прислонился к стене. Ноги ломило, и я подумал, что те двое, которых мы сменили, чувствовали, наверно, то же самое.

— Пепла вполне достаточно, — сказал наконец Гильденстерн. — Я вас хочу видеть ходить.

Он вышел, и мы снова начали свое путешествие. Я двинулся в сторону окна, а Роберт шел к зеркалу. У окна я на секунду останавливался и смотрел на дерево, росшее перед домом. Такое же дерево росло перед домом той пары, которая оплачивала нашу поездку в Эйлат. Я так и не узнал, как оно называется. Роберт подходил к зеркалу, и каждый раз у него становилось другое лицо. Он не умел терять времени. Я представил себе, как он сидит рядом с нашей невестой в Эйлате и говорит ей то, что он сейчас придумывает. Я смотрел на его меняющееся лицо и точно знал, что именно он сейчас придумывает.

"Вы видели его руки?" — спросит Роберт.

"Да".

"Это руки преступника".

Она возмутится:

"У этого человека руки пианиста", — скажет она.

Тогда Роберт усмехнется — одними глазами.

"Увы, я не могу относиться к нему как женщина. Руки у него худые, это верно, но через три года..."

Тут он замолчит и отвернется, потом возьмет камешек, пустит его по воде и не заговорит, пока камешек не подпрыгнет на воде семь раз.

"Что "через три года"? — нетерпеливо спросит она.

Тогда Роберт выставит свои толстые, распухшие лапы и покажет ей. При этом он усмехнется, но не насмешливо, а как бы грустно, и только постепенно его улыбка будет становиться застывшей и жалкой: и у него когда-то были такие же руки, как у меня, и нет причин, чтобы мне повезло больше, чем ему...

"Да, но у вас кость шире", — возразит она.

"Вы совершенно правы, — ответит Роберт. — У него кость тоньше. Поэтому у него все пойдет быстрее. Ему понадобится всего год, чтобы распухнуть и ожиреть".

"Но почему, почему?"

"Потому что он родился в другом климате. Почки, знаете... Это здесь случается со многими европейцами. Они потребляют слишком много соли и пьют слишком много пива. — Он опять помолчит и снова бросит камешек в воду. — Так и пройдет жизнь — водка, работа, одиночество..."

"А почему одиночество?"

"Какая же женщина поедет с ним в Эйлат? Еврейка не сможет выйти за него замуж. А европейская женщина в Эйлат не поедет. — Чуть поодаль от них будет сидеть наша красотка, которую Роберт время от времени нанимал, — сорокалетняя бабища с распухшей мордой. — Сколько, по вашему, этой девушке лет?" — спросит Роберт у нашей невесты.

"Девушке?"

"Как еще следует называть женщину, которой исполнилось всего 27? — спросит Роберт. — Она приехала сюда со своим мужем три года назад. Тогда это была самая красивая девушка в Эйлате".

Он снова замолчит, а эта баба будет ждать, пока он в третий раз кинет камень, и это будет для нее знаком, что ее роль окончена и она может уйти, — а вечером она получит свои пять фунтов. Это была наша статистка, а пять фунтов — не так уж мало за час сиденья на пляже. Роберт бросит камешек, и тогда эта толстуха поднимется и пойдет с пляжа, неуклюже переставляя распухшие ноги, а моя невеста будет смотреть ей вслед, и Роберт будет ждать, пока на лице ее не появится гримаса отвращения.

"Вот видите", — скажет он тогда.

"Как это грустно", — слегка вздрогнув, скажет наша невеста.

Тогда Роберт больно стиснет ей руку.

"Только не лгите! — воскликнет он. — Жаль, что вы не видите выражения своего лица. На нем было написано от-

вращение. Этот человек, — тут Роберт покажет в мою сторону, — слишком мне близок, чтобы я позволил его жалеть. Уж лучше отвращение. Это надежнее".

"Как вы жестоки!" — воскликнет она.

"Нет! — воскликнет он. — Только однажды я поступил жестоко и до сих пор не могу себе этого простить. Это было, когда он уплыл далеко в море, а я — в последнюю минуту, словно мне что-то подсказало! — схватил моторную лодку, догнал его, оглушил ударом весла и, потерявшего сознание, вытащил из воды. Вот чего я не могу себе простить!"

Тут он замолчит и с некоторым беспокойством подумает, не сообразит ли она, что если лодка с мотором, то зачем весла. С минуту он будет потеть и дрожать от страха. Только ей это даже не придет в голову.

"Разве он не умеет плавать?" — удивленно спросит она.

"Это один из лучших пловцов в Эйлате! — надменно произнесет Роберт. — Именно потому ему удалось тогда так быстро и так далеко уплыть. Но он плыл не ради рекорда..."

"А ради чего?"

Он не ответит; только протянет руку, указывая налево, и ее взгляд последует за его рукой к нашему второму статисту — старику, который когда-то попал под трамвай в Сан-Франциско и ему отрезало ноги вровень с задницей. Роберт снова бросит камешек, и тогда наш статист поползет по пляжу, чтобы заработать свои три фунта, которые Роберт даст ему вечером. Роберт платил ему меньше, чем толстой бабище, полагая, что для трех четвертей человека и трех фунтов вполне достаточно.

"Кто это?" — содрогнется она.

"Спросите лучше: кто это был... — трагически скажет Роберт. — Так будет куда лучше. Это человек, который тоже искал смерти. Но он не был таким хорошим пловцом, как этот, и поэтому его успели вытащить на берег. — Он помолчит и потом добавит. — Вот чего я себе не могу простить..."

"Вы имеете в виду крокодилов?"

"Нет, золотых рыбок в аквариуме!"

"Вашего друга нужно спасти!" — воскликнет она.

Роберт наклонится к ней, и она увидит его широченную и мерзкую рожу. Тогда она отвернется и увидит меня. А мое лицо будет узким и чеканным, — как всегда после курса "Диамокса".

"И вам известно, где можно купить это самое спасение?" — иронически спросит Роберт.

"Ему нужно уехать отсюда!"

Мы встретились на середине ковра, и я посмотрел на Роберта. Мы остановились и закурили; теперь мы уже курили свои.

— В каком ты месте сейчас? — спросил я.

— Когда она говорит, что тебя нужно увезти из Эйлата и поместить в хороший санаторий, где тебя отучат от водки и снотворного. Я все думаю, там ли еще наш безногий?

— Далеко он, во всяком случае, не уйдет, — сказал я. — В последний раз он там был.

— Разве можно знать, что такому кретину ударит в голову! — проворчал Роберт. — Может, он вздумает повеситься, кто его знает! Без него нам не обойтись. Он необходим для полноты картины. Мы должны работать быстро.

— Я знаю одного такого же в Тель-Авиве.

— Без ног?! — обрадовался Роберт.

— Без одной.

— Это не то! — досадливо сказал Роберт. — Подумаешь, одна нога! Кто ему мешает приделать себе протез и стать пилотом, как тот русский летчик, как его, не помнишь?

— В Беер-Шеве есть один безрукий, — предложил я.

— Нет, нет, все не то! Мне нужен образ, понимаешь: он ползет, а руки у него вязнут в песке. Представляешь? Он ползет по песку, а за ним тянется след, будто кто-то протаскивал мешок. Вот это образ! Твой безрукий из Беер-Шевы тут не годится. Может, прикажешь мне еще взять его в Эйлат, платить за проезд и на каждой остановке расстегивать ему ширинку? Нет?! Странно! Я тебя столько раз просил не давать мне советов!

— Хорошо, не буду. Ты же у нас специалист. Ты же у нас личный советник Президента Зискинда по художественным вопросам, верно? Ах, извини! Не так! Ты у нас руководи-

тель драматической студии при Ист Филм Корпорейшн и личный советник Президента Зискинда по художественным вопросам! Ради Бога, извини! Больше не ошибусь, обещаю.

— Этот Зискинд мне еще попадется.

— Нисколько не сомневаюсь. Только на что ты потом будешь жить? Не все миссионеры такие умные, как наш Син. И я тоже не могу вечно оставаться в возрасте Христа.

Гильденстерн постучал в дверь и крикнул:

— Прошу вас ходить, господа. У меня не дискуссионный клуб!

— Понимаешь, — сказал Роберт, — я пришел к выводу, что до сих пор мы с тобой работали не наилучшим образом. Вся беда в том, что мы оба воспитаны на русской литературе. Плавное повествование, медленное развитие действия, постепенное раскрытие характеров. Это все прекрасно, только это все годится в сраку. Сегодня нужно работать образами. Посмотри, как пишет Фолкнер: он дает тебе образ, а дальше ты уже сам мучайся, как знаешь. Герой вбегает в темную улицу, когда ему восемнадцать, и выбегает, когда ему тридцать два. И больше Фолкнер ничего не говорит; мы сами должны сообразить, что, пока он пробежал эту улицу, прошло четырнадцать лет. Или вот помнишь этот фильм — "Я нравлюсь кому-то наверху"? Там Пол Ньюмэн входит в темноту ребенком, а выходит молодым бандитом. Это как раз то, что нам нужно. Конечно, если времени навалом, как последний раз в Тверии, можно позволить себе работать по принципам классической драматургии — медленный темп, напряжение нарастает, потом бац! — кульминация, и мы смываемся с деньгами. В Эйлате все нужно делать иначе. Это дикое место, там никто не читал Толстого. Мы сломаем хронологию к чертям собачьим! Мы будем работать образами, швырять их друг на друга! Кадр — фотография твоей девушки, кадр — фотография типа, с которым она ушла, кадр — наша толстуха... Кстати, ее нужно будет подкрасить. Понимаешь, — уродливая баба, которая не хочет примириться со своим уродством. Трагедия! Я положу ей на морду полкило помады. Это нам обойдется в гроши. Потом кадр с безногим. Я велю ему ползти через весь пляж, и заставлю ее смот-

реть на след, который он за собой оставляет, и скажу: "Если Бог существует, я надеюсь, что от него (и от тебя, разумеется) не останется ничего. Даже и такого следа". Согласен, это не Шекспир. Но это ее добьет. Ты понял? Потом ты пристрелишь собаку. Только, ради Бога, сделай как-нибудь, чтобы она подохла побыстрее. Без всех этих конвульсий, знаешь! Понимаю, понимаю, ты так не привык, но, ради Бога, постарайся. Мы должны сломать эти классические каноны. Мы будем работать образами. Мы сэкономим на этом кучу денег.

Я рассмеялся.

— Не понимаю, что тут смешного? — возмутился Роберт. — Может, тебе смешно, что нам придется платить три фунта этому обрубку? Да еще, не дай Бог, не один раз, а два или три?! Или то, что придется покупать помаду и притом такую, чтоб видно было от Красного моря до Мертвого? Я не понимаю, что тебе смешно. Объясни мне, пожалуйста.

— Понимаешь, когда я жил в Париже и у меня не было денег, я ходил в студенческую столовку...

Роберт посмотрел на меня подозрительно;

— По-моему, ты не очень похож на студента. Где ты учился? В старших классах лицей?

— Не в том дело. У меня там была подружка-американка. Она училась в театральном училище. И вот она меня гримировала, чтобы я выглядел моложе. Я, правда, перестал походить на алкоголика, но зато стал похож на стареющего педераста.

Роберт задумался.

— Нет... я пока не вижу, куда это вставить, — сказал он наконец.

— Уж ты найдешь куда. За это я спокоен. А что касается Эйлата, то одну вещь ты все-таки забыл.

— Какую?

— Ты должен ей сказать — так, чтобы я не слышал, разумеется, — что у меня уже три месяца не было женщины. Можешь даже сказать, четыре. Понял? Я стал почти такой же, как те, с рудников. Пока я еще не выгляжу, как они, но мне уже кажется, что я начинаю походить на тебя. Пойдет?

— Пожалуй. Только тогда ты должен внимательно на меня смотреть. Понимаешь, — ты должен посмотреть на меня и потом, как бы не отдавая себе отчета, ощупать свое лицо. О, вот так, прекрасно! Ты смотришь на меня, потом твое лицо становится встревоженным... нет, лучше, просто задумчивым, и ты начинаешь его ощупывать. Это ты сумеешь.

— Ты же знаешь, что я хорошо играю.

— Ты хорош только в бурных сценах. Там, где нужно играть на полутонах, у тебя еще не все о'кэй. Но это придет со временем. Теперь так — эту сцену нужно немного разгрузить. Снять излишний драматизм, понимаешь? Мы не должны подчеркивать, что ты все время думаешь о себе и своей внешности. Ты маньяк, ты анахорет. В этих мыслях, что проносятся в твоей голове, ты сам себе не отдаешь отчета. Я сам обращаю ее внимание на твои неконтролируемые движения. Да, кстати, тебе придется изменить прическу.

— Опять?

— Теперь все стригутся под Джеймса Бонда. С пробором, как у тебя. Это не годится. Кроме того, ты вообще не знаешь, что происходит в мире, кто такой этот Бонд. Какое тебе дело, что люди сходят по нему с ума? Ты выше этого.

— Если я не знаю, что вокруг происходит, как я могу следить за своей прической? Я ведь не хожу в кино. И вообще, единственная книга, которую я читаю, — это Библия, не так ли? Я понятия не имею, кто такой Шон О'Коннори. Кстати, не кто иной, как ты, не далее, как месяц назад, велел мне подстричься под Бонда, с пробором, и еще целый час морочил голову парикмахеру, который не понимал, чего ты от него хочешь. И все потому, что той бабе нравился Джеймс Бонд.

— Это все ерунда, — сказал Роберт. — Хуже то, что волосы у тебя выгорят на солнце, и седина будет незаметна.

— Я могу купить шапочку, — предложил я.

Роберт даже побледнел.

— Упаси Боже! — закричал он. — Ни в коем случае! Ты же ко всему безразличен! К солнцу, к природе, ко всему! Ты человек из другого мира. Ты даже не проигравший. Тебе на роду не дано было ничего выиграть. На этот раз я препод-

ношу тебя в современном стиле. Я создам в ее мозгу такой хаос, что только пустой счет в банке вернет ей веру в классическую драматургию.

— Если ты еще раз говоришь о Шекспире, — сказал я, — я дам тебе в зубы.

Вошел Гильденстерн и протянул каждому из нас по семь фунтов.

— Почему только семь? — возмутился Роберт. — Мы работали восемь часов!

— Час у вас ушел на споры о театре, — сказал Гильденстерн. — Вы так страшно кричали, что я совсем не слышал вас ходить. Я, конечно, извиняюсь, но у меня-таки изготовление фальшивых ковров, а не дискуссионный клуб.

— Господин Гильденстерн, я вас считал человеком слова, — сказал Роберт. — Неужели вы унижаетесь до того, чтобы украсть у нас фунт?!

— Вы кричали. Я не слышал вас ходить, — упрямо повторил Гильденстерн.

Роберт повернулся ко мне.

— С тобой всегда так. Разумеется, я кричал. Я привык, что у тебя лучше всего выходят бурные сцены.

Мы сняли рабочую обувь, одели свою и вышли на улицу. Опять шел дождь. Назавтра у Гильденстерна работы уже не было. Я посмотрел на море и увидел, что завтра тоже будет ненастный день. Может быть, солнце выглянет на минутку, чтобы осветить плоские крыши тель-авивских домов, и снова спрячется в низкие тучи, оставив город утопать в темноте и потоках дождя.

— Роберт, — сказал я. — А может, подцепить на пляже какого-нибудь кретина, который ничего еще не знает, и предложить ему, чтобы он заплыл чуть подальше, а? Можно ему сказать, что там коралловые рифы, — если у него будет маска.

— Зачем тебе кораллы? Ты что, собираешь коллекцию? Нет, ты совсем спятил! Запомни, у тебя есть только Библия, собака и револьвер.

— И еще ты, — напомнил я.

— Ну, разумеется. Я — твой последний друг, и только теперь, когда ты встретил ее... ну, дальше ты сам знаешь.

— Понимаешь, я подумал, что крокодилы могли бы пару раз цапнуть этого типа в маске. А потом мы могли бы притащить на берег то, что от него останется. Если что-нибудь останется. Одним образом больше.

Роберт приостановился.

— Я понял, что тебя губит, — назидательно произнес он. — Твоя тупость. Мы должны показать ей нашего калеку только издали. А как с ним это случилось, — пусть уж она сама себе довообразит. Ты ничего не понимаешь в женщинах. Возьми, к примеру, жену какого-нибудь пьянчуги, который допоздна где-то ошивается. Ты представь: сначала она его ждет с твердым намерением устроить ему сцену. Потом она начинает нервничать. Потом она мысленно видит его в бардаке с девками. Потом ей начинает казаться, что он свалился с моста. Потом ей уже чудится, как он попадает под трамвай, под машину, как ему отрезает руки, ноги и все прочее. Когда он наконец вваливается в дымину пьяный домой, она кидается ему на шею. Это и есть ситуация. Мы только даем нашей невесте толчок для размышлений. А уж в ее курином мозгу все само собой уложится тик-так. Мы ставим ее в положение Моисея, которому показали Землю Обетованную, но не разрешили в нее войти. Не дай Бог, чтобы что-нибудь такое случилось на самом деле! Это только вгонит нас в лишние расходы и заставит вернуться к классической драме. Неужели ты на самом деле так глуп?! Нет, вы только посмотрите на него — ему нужен настоящий труп! Может, прикажешь мне свозить ее за наш счет в Освенцим и показать пару сот тысяч скелетов?! Может, пригласить ее на чашку кофе в городской морг?! Ты идиот! Вполне достаточно, чтобы этот обрубок хорошо прополз по пляжу, и все. И чтобы песок, по которому он будет ползти, сыпался у него между пальцами. Вот это я называю образом. Но это я еще с ним порепетирую. Стал бы я иначе платить этому шивому типу три фунта в день, если б не был уверен, что он нам не-

обходим для сценария?! — Он помолчал и потом добавил: — Пожалуй, ему и двух фунтов хватит. Теперь насчет собаки. Тут у меня есть на примете один боксер.

— Опять боксер?

— А почему нет? Хорошая, спокойная собака, хорошо поддается дрессировке и достаточно уродливая. Самый подходящий друг для одинокого мужчины.

— Но ведь мой друг — это ты.

— Ты прав. Но это к делу не относится. Впрочем, спасибо, что ты мне напомнил. Это можно психологически развернуть.

— Уж ты развернешь...

— А кто же еще? Значит, так, — людям ты не доверяешь. Собака тебе дороже, чем все бляди из Фоли-Бержер, вместе взятые. Дальше уже идти некуда. Я подвожу ее к тому, что она начинает ревновать. Я говорю, что я все для тебя готов сделать, но эта чертова собака заслонила тебе весь мир. Представляешь? Ты все вечера проводишь с собакой. Это страшно. Это трагедия...

Я посмотрел на него, — в глазах у него стояли слезы. Мне никак не удавалось накрыть его за бутылкой. Я твердо знал, что он пьет тайком от меня, но никак не мог накрыть его на горячем.

— Слушай, может, ты все-таки бросишь пить, а?

— Не твое дело! Ты лучше думай о собаке, — какое ей дать имя? Мы должны все разыграть, как по нотам. В ту минуту, когда ты убьешь собаку, в курином мозгу этой бабы должны столкнуться два чувства — радость и ужас.

— Во-первых, неизвестно, будет ли у нее вообще мозг, даже куриный. Во-вторых, я не понимаю, чему тут радоваться?

— Тупица! Она же будет ревновать тебя к этой собаке. Нужно только создать соответствующую ситуацию. Вот что, — когда ты в первый раз ее разложишь и приготовишься наяривать, ты должен вдруг вскочить и выбежать из комнаты как ошпаренный. А когда ты вернешься, ты скажешь: "Извини, я вспомнил, что забыл накормить собаку"...

— И тогда она меня вышвырнет, вместе с собакой, — сказал я. — И продолжения не будет.

— Не волнуйся, продолжение будет. Я же тебя просил не давать мне советов! Собака — твой пунктик. Годы одиночества, девушка, которая тебя бросила, житейские неудачи, седые волосы... Э, ни черта ты не понимаешь...

Дождь хлынул как из ведра, и нам пришлось зайти в кафе — выпить кофе и переждать. Время было позднее, и хозяин начал объяснять, что он уже час, как собирается закрывать, да все не может решиться из-за дождя.

— Тебе в какую сторону? — спросил Роберт.

— В сторону Яффо, — сказал он. — Автобусы уже не ходят.

— Высадишь нас на углу Алленби, — сказал Роберт. — Возьмем такси и заплатим фифти-фифти, идет?

— Идет, — сказал хозяин. — Два кофе? С вас фунт.

— Как это фунт?

— Ночная цена...

— Но ты же сам сказал, что боишься дождя! Или ты этого не говорил? Может быть, это не ты предлагал взять такси напополам? Почему же ты хочешь содрать с нас за кофе, как в ночном клубе?!

— Но это ночная цена...

— Слушай, ты говоришь на идиш?!

— Да, — сказал хозяин.

— Почему же ты требуешь с нас фунт?

— Ночная...

— Ты говоришь на идиш или нет?! — крикнул Роберт. — Да или нет? Нет, ты мне скажи: ты говоришь на идиш?! Ты говоришь или нет?

— Но ведь дождь...

— Так что, что дождь! — закричал Роберт. — Разве мы тебе платим за погоду?! Мы же тебе платим за кофе?! Сначала ты с нас дерешь за то, что ночь, теперь ты хочешь еще и за дождь содрать?! Нет, ты говоришь на идиш, я тебя спрашиваю? Скажи мне — ты говоришь или нет?!

Это был его старый трюк. Сам он не знал ни слова на идиш, но всегда перебивал хозяина собаки этим вопросом. И всегда оказывался в выигрыше.

— Я не то хотел сказать! — в отчаянии крикнул хозяин. — Я совсем не хотел сказать, что идет дождь! Я хотел...

— Значит, по-твоему, дождя нет?! — завопил Роберт, не давая ему окончить. — Может, сейчас светит солнце, и жарит хамсин, и мы с тобой лежим на пляже и ждем, что нам кто-нибудь подаст пива?! Верно, да?! Ну, скажи мне, что сейчас день! Жарит солнце, да! Хамсин, дышать нечем, да?! Дождика бы сейчас, да?!

— Я хотел сказать, что сейчас ночь!! — закричал хозяин. — А ночная цена...

Я вынул из кармана лиру, швырнул на стойку и вышел. Струи дождя стекали по телу, словно на мне не было ни куртки, ни свитера, ни плотной рубашки вдобавок. Из кафе все еще доносились их отвратительные вопли и, казалась, несколько не затихали, хотя я шел довольно быстро. Теперь я наконец остался один, и мне показалось, что сегодня я, может быть, смогу уснуть. Подходя к гостинице, я отвернулся, чтобы не видеть Ибрагима. Только наверху, в номере, подходя к окну, я увидел его: он стоял неподвижно, отвернувшись лицом к стене, и дождь стекал по его телу, и только волосы у него были, как всегда, жесткие и курчавые.

Я снял куртку и свитер и спустился вниз. Подойдя к Гарри, я увидел себя в зеркале и решил, что нечего возиться с рубашкой, — она промокла и липла к телу. Я стащил ее и бросил на конторку.

— Высуши ее к утру, — сказал я. — Как ты это сделаешь, меня не интересует.

Я вошел к ней в номер, и она еще не спала. Я ничего не успел ей сказать. Я выглянул в окно, но из их окна Ибрагима не было видно: он стоял на другом углу.

— Я думал, что он здесь. К счастью, я ошибся.

Она усмехнулась.

— А ты уверен в себе, — сказала она.

— Иногда мне хочется его убить, — сказал я. — Я больше не могу на него смотреть.

— Я тоже. Как только мы вернемся в Канаду, я с ним разведуь.

— Я его ненавижу. Во всем мире нет человека, которого я бы так ненавидел. Стоит мне подумать, как он там стоит, отвернувшись к стене...

Я замолчал, потому что мне вдруг показалось, что он все-таки где-то здесь. Может быть, я просто его не заметил? Я снова подошел к окну и убедился, что из этого окна его действительно не видно; оно выходило не на Алленби, а в боковую улочку.

— Нет, — сказал я. — Сегодня его не будет, слава Богу.

— Не будет, — подтвердила она. — Он поехал в Хайфу. Он оставил тебе конверт.

Она взяла со стола конверт и протянула его мне; я сунул его в задний карман брюк и застегнул карман на пуговицу. Эту пуговицу мне пришил Роберт. Во всем Израиле только я один, наверно, имел пуговицы на джинсах. А потом я посмотрел на нее и рассмеялся, и она тоже рассмеялась.

— Господи, — сказал я. — Я забыл сценарий...

— Что?

— Нет, ничего. Я уже вспомнил. Профессиональная память. Ты все равно не поймешь. — Я подошел к двери. — Ты сама знала, что это случится! Впрочем, я тоже знал. Но вот у Роберта все спуталось в голове. Он не сообразил, что, когда я получу деньги, дальнейшее уже будет не нужно. Все потому, что эта черная скотина стоит там на углу и не хочет обернуться.

И я повернул ключ в дверях.

x x x

Все было бы хорошо, если бы не Роберт с его вечной тополиностью. И еще то, что дождливый сезон кончился раньше, чем в прошлом году; но разве мы могли это предвидеть? Роберт отправился в туристское бюро и вернулся в радостном возбуждении.

— Все в порядке! — объявил он.

— Уродина?

— Да. Это прекрасно. Разведенная.

— Моральные муки?

— Именно так. Не бойся, все будет о'кэй. Помнишь последнюю с моральными муками? Ту образину из Чикаго?

— Да.

— Муж над ней издевался, годы моральных истязаний и только ты, чистый, целомудренный человек, который даже не знает, что такое деньги... помнишь?

— Можешь не продолжать.

Мы пошли к тем, что обещали нам деньги на поездку, и там с ними был еще один. Когда мы вошли, хозяин сказал, указывая на него:

— Это мой шурин.

Я усмехнулся.

— Что ты усмеаешься?! — тихо спросил Роберт и побледнел. — Что ты усмеаешься, я тебя спрашиваю? Ты у нас неграмотный, тупой, да?! Ты слабоумный, ты припадочный, а я твой сторож, да? Скажи мне, что ты усмеаешься? Я тоже хочу усмеаться! Только скажи мне раньше, кто нам будет платить за усмешку? А уж потом, когда тебя заберут в психушку, мы с тобой посмеемся! Перестань усмеаться, я тебя умоляю!

— Но ведь я всего лишь улыбнулся, — сказал я.

— Да, но какого черта? Что тут смешного? Я тебя умоляю, объясни мне!

— Он сказал, что это его шурин, — сказал я. — А они похожи как две капли воды. Каждый, как после пятилетнего срока. В Дартмурской тюрьме, где еще сохранились телесные наказания.

Роберт повернулся к хозяевам:

— Прекрасно. Теперь вы видите, что это за тип? Жестокий. Дикий. Неотесанный. Один я еще имею на него влияние, но он уже и меня перестает слушаться. Его может спасти только любовь. В Эйлате, разумеется. Вдобавок, он жутко силен. Сделай одолжение, двинь ему в рыло! — он показал на шурина и стал расстегивать на мне куртку.

— Это с какой же стати?! — удивленно спросил шурин.

— Как это — с какой стати?! Он же жутко силен. Восемьде-

сят килограмм. Сплошные мускулы. Вы сейчас сами увидите.

— Но я не понимаю, с какой стати?

— Позвольте, вы же платите? Верно? Или вы передумали? Умоляю вас, скажите мне, вы же не передумали?

Он снова побледнел.

— Нет, нет, все так, как мы договорились, — сказал хозяин.

— Тогда в чем дело? Вы мне платите. Я честный человек. Ведь только честный человек может в наши дни что-нибудь заработать. Чтобы заработать, нужно иметь воображение. Если б он был туберкулезный, я бы его к вам не привел, верно? Я бы его отправил в санаторий, верно? — Он повернулся ко мне. — Чего ты ждешь?!

— Спасибо, уже не надо, — сказал шурин. — Искренне вам признателен.

— Вы отказываетесь? Почему? Это же так просто. Или вы думаете, что я привел к вам человека, который не способен врезать вам как следует по морде? Неужели вы обо мне так плохо думаете?

У него вдруг хлынули слезы.

— Извините его, он слишком много пьет, — сказал я. — Нервы...

— Все из-за того, что мне приходится оставлять его одного, — сказал Роберт, успокаиваясь. — Прошу прощения. Как подумаю, что опять нужно оставить его наедине с этой развалиной, так места себе не нахожу. И с этими душевными муками...

Он опять залился слезами.

— погоди, — сказал я. — Кто кого, собственно, мучил — муж ее или она мужа?

— Конечно, она мужа! Может, ты думаешь, что это я ее мучил?! Ты же так не думаешь, правда?! А если тебе не нравится, попробуй сам найти что-нибудь получше в начале сезона! Нет, ты попробуй! Я тебя прошу! Я сейчас же позвоню Элизабет Тейлор, чтобы дать ей твой адрес. Мисс Америка! Красивейшая женщина мира! Жаль только, дождь идет!

— Успокойся!

— Как я могу успокоиться, когда мы еще не сняли навар?! Я боюсь оставить тебя одного. Один Бог на Страшном Суде знает, что я переживаю!

— Могу тебе рассказать, что переживаю я, — сказал я, — когда эта старая падаль снимает свой корсет и начинает строить из себя невинную девочку. А вид у нее, как у Мисс Городского Морга. И вдобавок, она еще чудовищно заботлива. Я чувствую, что попал в богадельню.

— Прекрасно! — воскликнул Роберт, мгновенно успокаиваясь. — Прекрасные слова! Видишь, когда ты говоришь что-нибудь удачное, я всегда готов это оценить. Именно так ты ей и скажешь.

— Вы серьезно? — спросил хозяин.

— Конечно! Вы не понимаете?! Он ее любит, но не верит, что Бог дал ему такое счастье. Вы не понимаете? Я преподношу его современно и в то же время в самом традиционном разрезе — в разрезе его высоких моральных устоев. И не лезьте ко мне со своими советами!

— Никто к вам не лезет, — сказала хозяйка.

— Ну да! Я все должен делать сам! Какое вам дело, что я чувствую, когда оставляю его наедине с этой старухой? Я уже не человек! Нет, скажите, — по-вашему, я не человек?! Меня уже не нужно жалеть! Об этом вы, конечно, не подумали?! Зачем вам думать?! Для этого у вас есть я, правда?! Роберт все сделает! Кому какое дело, что в один прекрасный день Роберт сойдет с ума?! Это мое личное дело, правда?! Я уже почти что сумасшедший!

— Ради Бога, только без слез!

— Почему без слез?! Разве я не имею права плакать? Может быть, вы думаете, что у меня в груди нет сердца?! Вполне может быть. Одно я вам скажу: оно было! — Он повернулся ко мне. — Ты так ей и скажешь. Когда она тебя спросит,

ты скажешь: у него было сердце. Ты понял? Глагол "быть", в прошедшем времени, лицо в морщинах, голова в сединах... — Он снова повернулся к хозяйке. — Вы спрашиваете, есть ли у меня сердце? Есть. И что? Нет, я вас прошу, скажите, — ну и что?! Я вас прошу! Вы требовали от меня абсолютной искренности? Я тоже прошу вас, ответьте — что из этого?

Уж если вы пристали ко мне со своими вопросами, то ответьте и мне на мой единственный вопрос. Но я требую абсолютной искренности! Я вас прошу, ответьте мне, — ну, и что из этого?!

— Слушайте, но вас же никто ни о чем не спрашивал, — сказал хозяин. — Вы же не даете слова вставить...

— Так, понятно... Вы не хотите меня спрашивать. Зачем вам меня спрашивать? Вам не нужны мои ответы! Вас интересует только навар! В самом деле, к чему вопросы? На вашем месте я бы поступил точно так же. Зачем спрашивать,

если есть человек, который думает за тебя?! Нет, вы прекрасно устроились! Не перебивайте! Когда мне понадобится ваш совет, я сам об этом попрошу. Впрочем, вы все равно посоветуете мне какую-нибудь глупость. Пусть вас не удивляет, — я ни на что другое и не рассчитывал. Конечно, вас не касается, что я переживаю, когда приступаю к работе! Мне кажется, что во мне вот-вот что-то лопнет! Я сам не знаю что! Может,

в голове, а может — в сердце. Это невозможно описать. Если бы я мог это описать, меня бы здесь не было. Уж можете мне поверить. И это было бы лучше всего! Только не представляю, что бы вы без меня делали? Вы тоже не представляете, правда?

Я мог на него не смотреть; я и без того знал, что у него опять слезы в глазах. И действительно, он снова расплакался.

— Что бы мы без вас делали? — повторил хозяин. — Избавились бы от кучи хлопот. Я вам советую обратиться к врачу. У вас нервы ни к черту.

Роберт возмутился:

— К врачу? Зачем? Может, мне прямо выбрасывать деньги в окно? Если уж вы упорно решили не дать мне договорить и каждую секунду перебиваете меня своими идиотскими советами, почему бы вам не посоветовать мне сразу выбрасывать деньги в окно? Нет, я вас спрашиваю? Прекрасная картина: я швыряю деньги в окно, а вы стоите внизу и подбываете! И налог платить не придется, правда? Вы не согласны? Очень странно!

— У вас нервы ни к черту, — повторил хозяин. — У нашей знакомой точно так же начиналось. Повышенная возбудимость, бессонница, истерия. Не хочется говорить, чем все это кончилось...

— А ничем, — сказал Роберт. — Она вышла замуж за богатого гинеколога и теперь изменяет ему каждую минуту. Если это действительно ваша знакомая.

— Это была моя двоюродная сестра, — сказал хозяин. — Она покончила с собой.

Роберт стремительно повернулся к нему:

— Когда?

— Пару лет назад.

— Сколько ей было лет?

— Двадцать с небольшим.

— Богатая?

— Нет. Совсем нет.

— Что же вы мне морочите голову? Замужняя?

— Нет.

— Послушайте, не морочьте мне голову с вашей родственницей! Лучше я вам изложу свой план, как вытянуть деньги у человека, у которого жена покончила самоубийством. У меня есть на примете одна девушка, которая умеет симулировать маниакально-депрессивный психоз. Мы привозим этого вдовца сюда, поселяем его с этой девушкой в одной гостинице, они знакомятся, он видит, что у нее не все дома, потом начинается ураган страсти — вы меня понимаете? Потом она пытается отравиться, а он ее спасает. Чувствуете парадокс?! Его совершенно не поразило совпадение. Напротив: во имя священной памяти погибшей жены он решает помочь бедной девушке. Навар делим на три части! Ну, как? Идет? У меня есть интересные соображения насчет парадоксальных ситуаций. Это абсолютная чепуха, будто люди хотят забыть все страшное. Просто нужно знать, как к ним подойти. Дайте мне деньги, и я берусь уговорить человека, который шесть лет просидел в Освенциме, отправиться туда снова. Он разобьет там палатку и будет питаться мясными консервами. Не беспокойтесь, немецкую визу мы достанем. Немцы чувствуют вину перед евреями. Этот муж вашей

кузины тоже, наверно, чувствует вину. Мы ему втолкуем, что в ее преждевременной и трагической смерти виноват именно он. Вы не понимаете? Это же как дважды два! У вас есть его адрес? Можно его пригласить сюда на лето?

— Но я же вам сказал, что моя кузина не была замужем.

— Прекрасно. Тогда пригласите ее любовника. Он был женат? Это очень важно! Вы чувствуете, как поворачивается: молодая девушка, которая мечтала о чистой любви, этот мужчина, которого она обожала, и эта курва, его жена, о которой он наверняка рассказывал вашей кузине, что она совершенно фригидна, это все говорят. Что еще прикажете говорить любовнице? Вы можете предложить что-нибудь лучшее? Ну, так как, мы его приглашаем или нет?

— Моя кузина была парализована с детства и жила в Польше, — сказал хозяин. — Даже если у нее и был любовник, то вряд ли он имел деньги.

Роберт остановился как вкопанный.

— Слушайте, зачем же вы мне столько времени морочили голову?! Зачем вы мне морочили голову, я вас спрашиваю? Зачем вы мне часами рассказываете о своей кузине, а когда я предлагаю готовый, продуманный проект, вдруг выясняется, что она парализована и вдобавок без гроша за душой?! Предложите мне еще поставить на ее могиле мраморный памятник за свой счет! Прошу! Я же чувствую, что вы этого хотите! Если вы можете часами говорить о какой-то засранной парализованной, то уж конечно вы способны предложить мне такую мелочь! Еще бы, какие могут быть разговоры! Я этот памятник немедленно вышлю самолетом! За свой счет! — Он повернулся к шурину. — Зачем?

—Что?

— Откуда я знаю — "что"? Это же вы сказали "что"! Пожалуйста, прошу вас, продолжайте! Я весь внимание!

— Но я, право, не знаю...

— Откуда же мне знать! — перебил его Роберт. — Я, что, читаю ваши мысли? Ну, говорите, что вы там надумали?! Прошу. Я уже слышал сегодня столько глупостей, что еще одна мне не повредит. Раз уж вы меня перебили, так говорите! Не могу же я все за вас делать! Вы засыпаете меня

вопросами, а когда я вежливо спрашиваю, что вас интересует, оказывается, что вы сами не знаете. Ради Бога, отбросьте ложный стыд! Ваш шурин только что предлагал мне привезти из Польши какую-то паралитичку за мой счет. А вы что хотите предложить? Валяйте, я готов!

— Так мы ни до чего не договоримся, — сказал хозяин.

— Наконец-то! Первые разумные слова за весь вечер! Как мы можем договориться, если вы не даете мне говорить?! Сначала вы рассказываете мне о какой-то паралитичке и притом смакуете самые отвратительные детали, хотя ваша жена сидит тут же и просто из элементарного уважения к ней вы должны были опустить эти, мягко говоря, скандальные подробности. Я бы мог употребить другое слово, если бы не присутствие вашей жены, к которой я питаю искреннее уважение, несмотря на то, что она вышла за вас замуж, ибо я убежден, что с ее стороны это был не холодный расчет, а женский каприз. Как еще это объяснить?! Женщины вообще капризный народ. Но вы, конечно, так не считаете. Вы думаете, что привлекли ее своим сексом и богатым преступным прошлым. Пусть будет так. Завидую вашему умению тешить себя иллюзиями. Иллюзии — это великое искусство, особенно в жизни современного человека. Кстати, задумывались ли вы над таким вопросом: что такое современный человек? Знаете ли вы, что сегодня никто — решительно никто! — не мог бы ответить на этот вопрос с исчерпывающей полнотой и точностью?! Современный человек — это потерянный человек. Неужели вы полагаете, что такие драматурги, как Ионеско, Беккет и другие психопаты, пишут свои пьесы только для того, чтобы вы могли сходить в театр поразвлекаться, а потом списать этот расход из налогов?! Нет, господа! Этот феномен требует более глубокого осмысления. Упомянутые драматурги вовсе не психопаты, как вы только что изволили их назвать. Это в высшей степени трезвые писатели. Они знают, что современный человек не может вынести нервного напряжения нынешней жизни, и поэтому они переносят его в мир странностей. Это сны, господа. Но об этом мы поговорим в другой раз. Мы не можем говорить об этом в условиях, когда вы целыми часами тал-

дычите мне о какой-то паралитичке, рассказываете всю ее жизнь, хотя это совершенно не относится к тому вопросу, по которому я к вам пришел. Потом ваш шурин начинает меня о чем-то расспрашивать, а когда я в свою очередь спрашиваю, что его интересует, выясняется, что он даже не умеет как следует сформулировать свою мысль! Кто же должен за него ее формулировать? Я? Почему? Может, он еще потребует от меня, чтобы я за него ходил к дантисту и платил налоги?! Пожалуйста, милости прошу! Если уж вы так хотите меня облапошить, — я к вашим услугам! В конце концов, из-за чего спор? — Он повернулся к хозяину. — Этот мрамор, — какого сорта вам было бы угодно? Может быть, вы предпочитаете памятник из гранита? Нет? Вы меня удивляете. На вашем месте я бы вытянул из такого дурачка, как я, и гранитный памятник тоже. Ну, так как? Я жду! Я посижу и подожду, пока вы выговоритесь. Можете не обращать на меня внимания! Я ведь дурачок, чего со мной считаться!

Он рухнул в кресло и закрыл глаза, но тут же открыл их вновь — точно в ту секунду, когда хозяин дома собрался было что-то сказать.

— К чему вы клоните? — спросил Роберт.

- Кто?

- Как это "кто"? Вы. Не я же! Я-то знаю, к чему я клоню. Если бы вы дали мне сказать хоть одно слово, мы бы уже давно закончили. Так нет же, я вынужден сидеть и выслушивать какие-то дурацкие рассказы о том, как ваша знакомая паралитичка завлекла в свои амурные сети честных, порядочных мужчин! А что, если мне неприятно выслушивать такие рассказы?! Почему вы не подумали о том, что есть границы приличий, которые недопустимо нарушать?! Я уж не говорю о морали, ибо с ней вам, конечно, не приходилось иметь дела.

Что вам мораль?! Мораль - вещь растяжимая. Странно, что вы до сих пор этого не сказали. Кто лучше вас в Тель-Авиве разбирается в вопросах морали?

Хозяйка вдруг разрыдалась. Роберт немедленно подхватил, только намного громче. Те двое старых бандитов в ужасе переглянулись.

— Вот! — сказал Роберт, размазывая слезы. — Вот до чего вы довели свою жену! Но она вам этого не скажет. Если вы спросите ее, почему она плачет, она, возможно, скажет вам, что это из-за меня. Почему бы ей в самом деле так не сказать? Ведь гораздо труднее признаться собственному мужу, что это его болтливость и тупость довели тебя до слез. Полюбуйтесь! Одна из-за вас сошла с ума, другая рыдает. Со стороны вашей жены это совершенно естественная реакция, если учесть ее возраст. И ее впечатлительную, возвышенную душу. — Он вскочил, подбежал к хозяйке и поцеловал ей руку. — Умоляю вас, скажите ему, что вы плачете из-за меня! Я уже столько настрадался в жизни, что даже Бог на Страшном Суде ахнет, когда я открою ему свое сердце!

Теперь он судорожно всхлипывал, заикался, слезы ручьем текли по его толстому, уродливому лицу. Хозяйка замолчала, и они все трое остолбенело уставились на Роберта.

— Господин Роберт, может быть, стакан воды? — неуверенно спросила она.

Я стоял у окна и молчал. Понятия не имею, где он этому научился. Я подумал было, что, может, он затем и пил тайком от меня, но это, конечно, было не так. Он просто умел; умел входить в истерику; умел все, когда речь шла о том, чтобы выцыганить у кого-нибудь деньги. Он умел всхлипывать тихо и безутешно, как привыкшая к несчастьям женщина; истерически и громко, как сварливая жена; визгливо и капризно, как ребенок. Сейчас он судорожно захлебывался от рыданий, и плечи у него тряслись, — это он тоже умел.

Хозяин повернулся ко мне:

— Вы должны поговорить со своей девушкой. Пусть она возьмет его погостить к своим родителям. У них очень хороший кибуц. Пусть поедет на две-три недели. Ему это пойдет на пользу.

Роберт вдруг замолчал, побледнел и весь покрылся потом. На сей раз это был настоящий страх.

— Бога ради, объясни мне, о какой девушке он говорит? — повернулся он ко мне.

Я молчал. Хозяин поспешил с ответом:

— Я видел его сегодня в автобусе с девушкой. Я знаком с ее родителями.

— Почему вы решили, что она захочет мне помочь?

— Но ведь он ее целовал!

— Ты ее целовал? — недоверчиво спросил Роберт, обращаясь ко мне.

— Да.

— Сколько ты за это отхватил?

— Ничего.

— Как, совсем ничего? — душераздирающе простонал Роберт.

— Совсем.

— Ты хочешь сказать, что ты трахнул кого-то задаром?! Ты подложил мне такую свинью?!

— Почему бы нет?

— Задаром? Господи, чего ради?!

— Почему я знаю? Все так делают. Да ладно, не впадай в панику. Не подложил я тебе никакой свиньи, успокойся! Я всего-навсего поцеловал ее и вышел из автобуса. И больше ничего.

Роберт облегченно вздохнул.

— Ему что, нельзя задаром? — заинтересовалась хозяйка.

— В принципе, можно. Но зачем? Объясните мне, зачем ему делать это задаром? Прошу вас, объясните зачем, и я спокойно сойду в могилу.

— Но он же может, например, влюбиться...

— Это мое дело, когда ему влюбиться. Предоставьте это мне. Я ему все устрою, можете не беспокоиться. Зачем ему влюбляться задаром, если есть женщины, которые за это платят? Я вас умоляю, растолкуйте мне, может, я чего-то не понимаю? Вы еще не пробовали иметь с ним дело! Вы не знаете, какво это преподносить его то как депрессивного маньяка, то как бешеного романтика, то как человека, впадающего в религиозный экстаз. Попробуйте, я с удовольствием посмотрю, как у вас это получится. Не хотите? Тогда

не вмешивайтесь в мои дела. Он профессионал. Он с двадцати шести лет делает это только за деньги. С чего вдруг он начнет делать это задаром?

— А как вы преподносили его тогда, в Тверии? — спросил хозяин.

— В Тверии? Я уже не помню. А, собственно говоря, какое вам до этого дело? Вы же свое получили, верно? Может, я должен был сообщать вам все детали по телеграфу? Или писать письма, а копии отправлять в тель-авивский муниципалитет и в тюрьму в Акко? Пожалуйста, только скажите. В следующий раз я так и сделаю. — Он повернулся к хозяйке. — А вы еще советуете разрешить ему бесконтрольную эротическую деятельность? С какой стати?

— Ну, хотя бы для собственного удовольствия. Вы слышали когда-нибудь об удовольствии?

— С этими накрашенными старухами? Я дрожу от страха, как подумаю, что они в любую минуту могут под ним развалиться. Знаете ли вы, что у одной нашей клиентки был истерический припадок и нам пришлось отвозить ее в больницу?! Истерика от радости! И знаете почему? Потому что последний раз она подмахивала мужику пятнадцать лет назад, и теперь, когда он ей сунул, она совершенно обалдела. А вы говорите — удовольствие...

— Но ведь он может полюбить какую-нибудь молодую, красивую девушку?

Роберт повернулся ко мне. Вид у него был такой, словно он увидел два мчащихся друг на друга пассажирских поезда.

— Ты не подложишь мне такую свинью? — умоляюще прошептал он.

— Можешь быть спокоен, — ответил я.

Роберт повернулся к хозяину:

— Объясните мне, почему вы непрерывно пытаетесь нас поссорить? Как вам могло прийти в голову, что такой человек способен кого-то трахнуть задаром? Мало вам, что вы довели до истерики свою жену? Помните, женщины ничего не забывают; она вам еще это припомнит. Если бы женщины умели забывать, мы бы с ним не заработали ни гроша. Впрочем, и вы тоже. Ни одна женщина не забывает, о каком лю-

бовнике она мечтала в молодости. У одной это был садист, у другой лирик, у третьей еще кто-нибудь. Это в них неистребимо. Да будет вам известно, что легче всего наколоть женщину, которая хотела бы забыть. Такие бабы глупы, как курицы: они ищут приключения, а впутываются в любовь. А смешнее всего — расчетливые и скупые. Этих обработать легче легкого. У нас была парочка таких. Это вам не мужчина, который сначала сделает женщине ребенка, а потом, хоть убей, не может вспомнить, с кем и когда, и нужен обязательно адвокат, чтобы освежить его память. Но лучше всего иметь дело с женщинами, которые горят желанием отыграться на мужчинах. Это самая выгодная и надежная разновидность. На них уходит вдвое меньше времени, чем на тех, что ищут страстную любовь. В конечном счете в женщине всегда берет верх чувство справедливости. Все дело в том, что они пострадали куда больше нашего. Даже самые последние курвы. — Он повернулся ко мне. — Помнишь ту кретинку из Канады, которая приехала сюда, чтобы доводить мужиков до разорения, а потом вынуждена была одалживать на обратную дорогу?

— Помню.

— Вот видите, господа! Впрочем, что вы знаете о женщинах?! Я сам давно уже мечтаю жениться и начать настоящую жизнь, да все некогда...

Впервые за весь вечер хозяин перебил его:

— Разумеется, вам некогда. Вы ведь жените непрерывно его...

Роберт молча подошел к столу и налил себе кофе. Выпил, постоял минуту с таким выражением на лице, будто проглотил червяка, и сказал:

— И кофеек у вас мерзкий, господа...

И мы вышли.

Проходя по Аякон, я увидел огни корабля, приближающегося к берегу.

— Пришел корабль за нашим миссионером, — сказал я.

— Не переживай, — отозвался Роберт.

Мы вошли в гостиницу, и я дал Гарри подержать собаку, а сам собрался было подняться в номер, чтобы уложить вещи, но тут вошел Син.

— Значит, завтра? — спросил он.

— Да. Тридцать три.

В это время в холл вошла его жена.

— Хочешь начать? — спросила она. — Я уже кончила. Или сделаешь это завтра?

— Ты о чем?

— Когда ты начнешь паковаться?

— Я не буду вообще паковаться, — ответил он. — Мы остаемся. Если мне удалось обратить одного, то появятся и другие. Этого я обратил в Яффо, а теперь я пойду к другим.

— Вот это и есть твой обращенный в Яффо? — спросила она, указывая на меня.

— Да.

— Ты знаешь, сколько этому человеку лет?

— Завтра ему исполнится тридцать три.

— Да, и он уже тридцать три года, как католик. С первого дня своего рождения. И вдобавок настолько любезен, что вечерами развлекал тебя разговорами на религиозные темы.

— Он католик? — прошептал Син.

— всю жизнь был католиком.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что я с ним спала. Иди лучше паковать вещи. Она вышла. Открылась дверь, и вошла Луиза.

— Погасите свет, — попросила она. — Или поверните лампу к стене.

— Это не настольная лампа, Луиза, — сказал я. — Это лампа под потолком.

— Все равно поверните ее к стене, — повторила она.

Я видел, что она сегодня здорово под мухой.

Син ушел к себе в номер, и я погасил свет.

— Я тебе показывала, как я выглядела раньше? — спросила Луиза.

В темноте я не видел ее лица.

— Я тебе уже показывала?

Я услышал, что Син вернулся: он втащил чемодан и начал рвать какие-то бумаги.

— Что это, Син? — спросил я.

— Мои разговоры с тобой, — безжизненным голосом ответил он. — Я их записывал.

Он доставал листы по-одному и медленно рвал их в клочья. Луиза подошла к нему и протянула свою драгоценную фотографию. Так же спокойно и бесстрастно он порвал ее и швырнул обрывки в корзину.

— Сделать тебе кофе, Луиза? — спросил Гарри. — Всего поллитры. Это тебя взбодрит.

Луиза медленно подошла к столу, включила стоявшую на нем лампу и подняла ее, освещая свое лицо. Мы отвернулись.

— Ты уверен, что это меня взбодрит, Гарри? Посмотри на меня хорошенько и скажи, что еще может меня взбодрить? — Она помахала нам рукой. — Прощайте, вы все. — И пошла наверх, встретившись по дороге с Робертом.

— Ты тоже уезжаешь? — спросила она его.

— С чего ты взяла! Я остаюсь здесь и наслаждаюсь жизнью. Ведь мне присылают такую же пенсию, как тебе, моя красавица!

Она поднялась наверх и щелкнула замком двери, а Роберт спустился в холл, и я увидел, что он снова потеет и нервничает, как всегда в решающую минуту. Но тут он увидел Сина и почему-то сразу успокоился.

— Ну-ка, дайте мне лампу! — торопливо сказал он.

Я протянул ему лампу; он взял ее и осветил его лицо. Но даже когда свет упал прямо в глаза Сина, зрачки их остались неподвижными. После третьей попытки Роберт поставил лампу на стол.

— Звони в психушку в Бат-Ям, — сказал Роберт, обращаясь к Гарри. — Этот человек скопытился.

— С чего ты взял? — испуганно спросил Гарри.

— Давай, звони. Даром, что ли, я кончал медицинский.

— Ты мне никогда об этом не говорил, — сказал я.

— А почему я должен был говорить? Разве мне кто-нибудь за это платит? Будь доволен, что я хоть сейчас поставил тебя в известность.

Гарри начал нервно набирать номер больницы, но тут на лестнице что-то загремело, и двое жильцов сверху стащили в холл Луизу. Руки у нее были в крови. Я понял, что она перерезала себе вены.

— Ерунда, — небрежно сказал Роберт. — Она насмотрелась, как это делают в фильмах. В жизни от этого так легко не умирают. — Он повернулся ко мне. — Пошли. Бери голубя и пошли.

— Какого голубя?

— А черт, я хотел сказать — собаку. Я ошибся. Что такое, мне нельзя раз в жизни ошибиться? Один спятил, другая вскрыла себе вены...

— Я останусь с ним... — сказал я.

— Зачем?

— Я хочу что-нибудь для него сделать.

— Ты и так уже сделал для него все, что мог. На кой черт она ему это сказала? Совершенно не понимаю. Этого же не было в сценарии, верно?

— Но ты велел мне ее трахнуть...

— Ну, велел. Но зачем было об этом говорить? Это же интимные вещи. Это... это же святые вещи! Мы только потому еще можем жить, что в мире есть что-то святое. Нет, это непорядочно с ее стороны. Она должна была, по крайней мере, сначала посоветоваться со мной. — Он подошел к Сину и прижал окурок к его ладони. — Полное отсутствие рефлексов, — задумчиво констатировал он. — Я все время боялся, что этим кончится. Бедняга...

Вошли санитары; оба были в белых халатах. В открытую дверь я увидел еще двоих — они стояли в коридоре и держали наготове носилки.

— Берите сначала этого, — Роберт показал на Сина. — С женщиной ничего серьезного. Ну, попрощайся с дорогой покойницей и поехали! — сказал он, поворачиваясь ко мне.

Гарри загородил ему дорогу.

— А кофе?

— Какой еще кофе?

— Кто будет платить за кофе для Луизы?

— Уж конечно не я.

— Если ты врач, ты должен мне сказать, кто будет платить за кофе.

— Что еще я тебе должен сказать?

— Она выздоровеет?

— Никогда она не выздоровеет, — сказал Роберт. — Ты только глянь на нее. Ей нужен мужик, который сидел бы рядом с ней и чтобы она ему рассказывала, как она когда-то выглядела. И знаешь, это мысль. Я ее обдумую. Сколько, ты сказал, ей присылают родственники?

— Двести долларов в месяц.

— Не так уж много, — задумчиво сказал Роберт, — но я подумаю.

Мы вышли из гостиницы. Наш автобус уже пыхтел на углу. Я сел у окна, и тут опять вошла эта девушка. Я знал, что я опять буду смотреть на нее всю дорогу. Только ее маленький шрам был теперь незаметен; но дождливый сезон уже кончился, и я подумал, что в Эйлате она быстро загорит до бронзового цвета, и тогда белая полоска возле носа снова будет видна.

— Губы мои и зеленые очи, — произнес я.

— Ты опять хочешь коньяку? — спросила она.

— Не знаю, — ответил я. — Роберт, можно мне глоток коньяка?

Он не ответил; я посмотрел на него и увидел, что он потеет.

— Можно мне глоток коньяка, Роберт?

— Я думаю о Луизе, — медленно произнес он. — Ты только представь, что за великолепная ситуация! Я уже все сообразил. Она прекрасно пригодится на время дождей. Ты будешь сидеть возле нее и рассказывать ей, как она выглядела раньше. Ты понял? Нет, ни черта ты не понял, я вижу! Ладно,

достаточно того, что я понимаю. Зачем тебе напрягать свои мозги, когда я за тебя думаю, верно?! А то, что я скоро сойду с ума, — какое это имеет значение?! Верно? Хотел бы я только знать, что вы все без меня будете делать?

— Можно мне глоток коньяка, Роберт?

— Нет. Ты слишком много пил в последнее время. Я понимаю, — разговоры о Боге требуют соответствующих условий, но ты уж чересчур себе позволил. Тебе больше нельзя. — Он ощупал мое лицо. — А впрочем, еще глоток, пожалуй, тебе не повредит.

— Ты долго собираешься пробыть в Эйлате? — спросил я.

— Это зависит...

— От погоды?

— От того, который будет за меня платить, А ты?

— Это зависит...

— Тоже не от погоды, конечно?

— Нет, — сказал Роберт. — Я уже все сообразил. Все великолепно. Теперь мы можем работать даже в дождливый сезон.

Марек ХЛАСКО

ДВА РАССКАЗА

САМЫЕ СВЯТЫЕ СЛОВА НАШЕЙ ЖИЗНИ

Они проснулись на рассвете так тесно сплетенные друг с другом, что их первым чувством было удивление — как они могли проспать всю ночь крепким, спокойным сном в такой близости? Парень зашевелился и приподнялся на локте, минуту смотрел на девушку горящими глазами, потом сказал:

— Скажи... скажи что-нибудь громко, если это не сон...

Девушка тихо засмеялась. Охватила его шею голыми руками и прижала к себе; тело ее было теплым, как свежесвеженный хлеб. Он услышал, как в груди ее твердо стучит сердце, потом она тихо сказала:

— Тебе кажется, что это сон?

— Я ничего не знаю, — признался он. — Ведь ты столько раз уже была по ночам со мной, говорила со мной, смеялась надо мной, признавалась мне в том, о чем я мечтал, а потом наступало утро, и я просыпался, и рядом со мной никого не было. — Он коснулся ладонью ее щеки и медленно повторил: — Ничего не знаю...

— Ты и теперь думаешь, что это сон?

— Не знаю... — еле слышно шепнул он.

Она посмотрела на него, прищурился глаза. Он видел, что она хочет что-то сказать и не решается. Чудовищный страх вдруг охватил его: он стиснул ее руку. Тогда она произнесла:

— Знаешь что? Встань и подойди к зеркалу.

— Зачем?

— Я тебе говорю, встань.

Он встал. Подошел к окну и отодвинул занавеску: день был ясный и холодный, на крышах сверкала роса. Время было раннее, с лязгом проходили первые трамваи. Он долго смотрел в глубину пустой улицы, потом сказал не оборачиваясь:

— Я немного боюсь.

Она выпрыгнула из постели, схватила его за руку и потащила к зеркалу.

— Теперь веришь? — спросила она. — Сны оставляют следы в сердце, а не на шее.

— Ты ни о чем не жалеешь?

— О чем ты?

— Об этой ночи.

— Если бы я жалела, я бы сейчас так не выглядела. Или ты думаешь, я могла бы так любить, если бы не хотела тебя?

— Ты думала обо мне когда-нибудь?

— Часто.

— И ты... хотела?

— Думаю, не меньше, чем ты.

Он горько усмехнулся:

— Откуда ты знаешь, как я тебя хотел?

— О, я знаю! Мне тоже придется чем-нибудь прикрыть шею, чтобы люди не увидели.

Он вдруг ощутил ужасную, трогательную нежность, почти жалость:

— Столько времени... столько времени я ждал этого, мечтал... Даже страшно подумать, что все это уже произошло...

Он подошел к окну и снова посмотрел на улицу: ему не хотелось говорить, он страшился слов. Из домов выходили на работу люди. Он знал здесь всех — то была маленькая,

песчаная улочка, на таких улочках соседи по сей день знают, что кому снится по ночам. Он молчал, переполненный до краев каким-то странным, тяжелым ощущением счастья, в которое никак не мог поверить. Только звук ее голоса заставил его обернуться. Она остановилась за ним и, касаясь кончиками пальцев его плеча, сказала:

— Ты пахнешь молоком, как маленький щенок, так забавно. И глаза у тебя такие удивительные. — Она взяла его лицо в ладони и заглянула ему в глаза. — Ты и вправду как маленький щенок. Если бы так могло остаться навсегда. Я ни с одним мужчиной не была так счастлива. Ни с кем мне не было так хорошо, как с тобой. Клянусь тебе, мне даже не снилось, что я могу быть так счастлива.

— Тебе было хорошо? — с трудом произнес он, чувствуя, что сердце подступило к самому горлу.

— Ох, не спрашивай... — еле слышно выдохнула она. — Теперь уже мне самой начинает казаться, что это был только дурной сон.

— Дурной?

— Ну да. Ведь только после хорошего сна жалеешь, что он... был.

— Я знаю, что ты должна сделать.

— Подойти к зеркалу?

— Вот именно.

Они прыснули. Парень тут же посерьезнел:

— Я должен мчаться. Пора на работу.

— Позавтракай.

— Не могу. — Он с сожалением покачал головой. — Ты же знаешь, каково это, когда опаздываешь.

— Ну подожди, я хоть приготовлю тебе что-нибудь. Возьмишь с собой.

Он начал одеваться. Страшно было прикасаться к собственному телу — он и сейчас ощущал, что оно принадлежит ей и все еще наполнено тем странным, более тяжким, чем свинец, более мучительным, чем смертная мука, более прекрасным, чем прекрасные стихи, чувством, которое оставляет после себя ночь, проведенная с женщиной, которую ждал тысячи дней, о которой мечтал столько бессонных ночей,

которую узнавал в каждом женском лице на улице, которую слышал в каждом стуке в дверь своей комнаты, из-за которой ненавидел небо, землю и всех людей и из-за которой все это любил.

— Когда вернешься? — спросила она.

— Вечером. Будешь ждать?

— Что ты спрашиваешь...

— Я по-прежнему боюсь.

— Я вернусь раньше тебя.

— Тогда зажги свет, отодвинь занавеску и жди меня.

— Зажгу свет, отодвину занавеску и буду ждать тебя. А теперь я тебе скажу еще что-то. Я не хочу с тобой прощаться.

— Почему?

— Я не хочу расставаться с тобой ни на минуту.

Он закрыл за собой дверь и вихрем слетел по лестнице. В первую минуту он захлебнулся от свежего воздуха. "Ах!" — мысленно крикнул он. Поднял голову и помахал ей рукой. Потом быстро зашагал по улице; фабрика была не так уж близко, а время позднее, приходилось спешить. Возле одного из домов он приостановился и крикнул:

— Хенек, давай сюда, давай!

И поскольку, как всякий семнадцатилетний варшавский паренек, он немного пижонил и говорил, будто у него не было зубов, то крик его прозвучал: "Энек, авай уда, авай!"

Вышел Хенек, коренастый и широкоплечий парень с добродушным и широким лицом. На нем был такой же комбинезон монтажника; цветная рубашка расстегнута на сильной шее.

— Привет, — сказал он. — Помчались. Заскочим только за Малиновским и паном Ценеком. Помчались. Я в этом месяце уже два раза опоздал.

Они быстро шли по улице. Солнце поднялось уже высоко: деревья, крыши, листья и трава быстро высыхали после ночной росы. Мимо шли женщины, наспех причесанные, в наброшенных на халаты пальто, с бутылками, банками, кувшинами из-под молока в руках. Хенек заговорил на ходу:

— Приходи к нам вечером. Фанфан принесет адаптер. И бутылка будет.

— Не могу, — ответил парень. — Сегодня вечером я занят.

— Опять Баська?

— Не твое дело!

— Эх, Баська... — мечтательно протянул Хенек. — Какая девчонка! Как я ее любил! Она всегда мне говорила: "Ты пахнешь молоком, как маленький щенок".

— Врешь! Ты врешь!!

— Чтоб мне так счастья в жизни не видать! Ты же знаешь, я не какой-нибудь юморист. Она говорила, что я похож на маленького, пушистого щенка. Да ты за нее не беспокойся старик, — мы еще с тобой под стол ходили, когда она начала блядовать. Эх, ну и любилась же мы! И подумать только — все-таки она меня бросила!

— Она не могла тебе этого говорить!

— Нет?

— Нет! Докажи!

— Ладно. Подожди.

Они остановились перед домом и Хенек крикнул:

— Малиновский!

Вышел Малиновский. Это был тоже молодой парень, веселый и стройный. Понятно, что как все ребята его возраста он причесывался под Фанфана, а поскольку волосы у него были красивее, чем у других, то именно ему и выпало почетное прозвище.

— Привет, — сказал Фанфан.

— Слушай, Фанфан, — сказал Хенек. — Скажи этому фраеру, что тебе говорила Баська, когда вы с ней шворились?

— Ребята, мы опаздываем, — нетерпеливо произнес Фанфан. — Мне сказали, что, если я еще раз приду после гудка, меня отдадут под суд. Вечно так: ложишься спать поздно, а утром встать не можешь. А Баська правильная баба, Хенек, это ты зря. Я о ней плохого слова не скажу.

Хенек перебил его:

— А я разве что говорю? — Он слегка задыхался: они шли быстро, а у него были самые короткие ноги. — Я что, говорю, чтобы ты о ней плохое слово сказал? Я, может, больше твоего ее любил! И ты сам знаешь, почему она меня бросила. Просто она всегда так красиво говорила. Ну-ка, припомни...

Фанфан задумчиво почесал затылок и сказал, припоминая:

— "Ты мой маленький, медовый медвежонок..."

— А про щенка?

— О, точно, не медвежонок! Щенок, верно! Щенок! Она говорила, что я пахну как щенок, как маленький щенок. — Он повернулся к парню: — Слушай, заскочишь сегодня к Хенеку? Я принесу от шурина проигрыватель.

— Я не могу, — тихо произнес парень. — Я занят сегодня.

— А вот и пан Ценек, — сказал Фанфан и крикнул: — Пан Ценек, погоди!

Пан Ценек, шедший чуть впереди, приостановился. Лицо у него было испитое, глаза — в кровавых прожилках.

— Привет! — прохрипел он, прикасаясь кончиками пальцев к фуражке.

— Привет!

— Привет!

— О Боже, сейчас бы опохмелиться! — пробормотал пан Ценек. — Хоть бы пивка!

— Уже поздно! И так придется ехать на буферах. В это время трамвай битком набит, — не глядя ни на кого, произнес парень.

Пан Ценек глянул на него налитыми кровью глазами и сочувственно поинтересовался:

— Что это с тобой, парень? Любовь без взаимности, а?

— Отвались! — раздраженно буркнул парень.

— Что-то ты в последнее время какой-то странный, — сказал пан Ценек с гримасой страдания на лице; его все еще мучило похмелье. — Тебе нужно трахнуть какую-нибудь хорошую девчонку. Увидишь, — как рукой снимет.

— У него уже есть хорошая девчонка, — сказал Хенек. — Да вы, наверно, ее знаете, пан Ценек?

— Которую? О Боже, я подохну от жажды!

— Ту, что на углу.

— Баську, что ли?

— Ну, факт!

— Еще бы, — мечтательно сказал пан Ценек, и его испитое лицо чуть разгладилось. — Чтoб у тебя было столько денег,

сколько я на нее просадил. Это самая шикарная девчонка во всем Маримонте. Погоди, погоди, как это она всегда говорила?... О Боже, я вам говорю, я сегодня сдохну от жажды!

— Только молоко, пан Ценек, — сказал Фанфан. — С похмелья самое лучшее — это молоко.

— Пошел ты со своим молоком, — прохрипел пан Ценек и снова скривился, словно по ошибке хлебнул уксуса. — Кстати, насчет молока... Они все что-нибудь такое говорят. В ваши годы я тоже начинал по девочкам ходить. Тогда еще каждая говорила, что ты у нее второй. А как же! А первый всегда был какой-нибудь партизан, который, понятное дело, погиб. В лесах. А года через два, когда на это уже не клевали, они говорили, что у них партизан за решеткой. Посадили его, значит. Или дали расстрел. А как же! "Я была тогда совсем молоденькой и повстречала солдата. И он каждый день видел смерть лицом к лицу, и мне захотелось дать ему мгновение счастья, потому что сердце мое чуяло, что ему суждено погибнуть..." . И так далее, в том же духе. А как же! Да, тогда красиво рассказывали! Сколько мне таких баек довелось слышать! Тогда у каждой был свой партизан в Армии Крайовой. У Баськи, правда, нет, она еще слишком молода была. Но она тоже всякие баечки рассказывала — что я, мол, и такой, и эдакий, и так все трогательно, что я прямо удержаться не мог. Шворю ее, значит, а у самого слезы по морде текут. И благородный я, и сердце у меня золотое... Э-э, что там говорить, — слова, трава-мурава...

— Мы не о том, пан Ценек! — с отчаянием выкрикнул парень. — Мы не о том! Пан Ценек, Бога ради, только скажите правду, она вам говорила, что ни с одним мужчиной ей не было так хорошо, как с вами?! Говорила?!

— Говорила, а как же... — кивнул пан Ценек.

— А как же, — как эхо повторил Фанфан.

— А как же, — повторил за ним Хенек.

— И что ей даже не снилось, что она может быть так счастлива?!

— Ага!

— Факт!

— Точно!

— И прощалась с вами, когда вы уходили на работу?

— Не-е... — покачал головой Фанфан. — Она никогда не прощалась.

— И со мной нет, — задумчиво припомнил Хенек, и его некрасивое лицо стало вдруг грустным.

— Нет, со мной тоже нет, — сказал пан Ценек. — Пойдите минутку, я только шурина крикну. Эх, черт, опаздываем, мать его так!

Они остановились перед старым, уродливым, обшарпанным домом; один из таких домов, перед которыми достаточно только раз остановиться и поглядеть, и сразу увидишь столько человеческого горя, что тебе одного захочется — чтобы двери этого дома были для тебя закрыты навсегда. На песчаных кривых улочках Маримонта много, много еще есть таких домов.

— Я, ребята, пойду, — сказал вдруг парень. — Мне еще нужно одно дело сделать, я вспомнил. Так я, пожалуй, не буду ждать вашего шурина, пан Ценек. Пока, до вечера!

— Ты же сказал, что не придешь? — удивился Хенек. — У тебя вроде какое-то дело было вечером.

— Приду, — откликнулся парень. — Я это дело сейчас сделаю. В крайнем случае, опоздаю, — ну, выгонят с работы, плевать!

— Важное дело?

— Отвались! Так ты приноси адаптер, Фанфан! Привет! — и он быстро пошел назад, в ту сторону, откуда они пришли.

— Привет! — сказал вдогонку Фанфан.

— Привет! — крикнул Хенек.

— Привет! — прохрипел пан Ценек и снова скривился в болезненной гримасе. Потом покачал головой и спросил, ни к кому не обращаясь:

— Какая муха его укусила, мать его так? Такой был парень веселый... Слушайте, помогите ему, ребята! Нужно найти ему какую-нибудь девчонку, чтобы она его полюбила, чтобы сказала ему что-нибудь хорошее, что-нибудь такое... святое... Чтоб я так жил, найдите ему такую девчонку! Помогите ему, я вам говорю! Друзья вы ему в конце концов или нет, ёб вашу мать?!

КРАСИВАЯ ДЕВУШКА

Это была действительно красивая девушка. Люди, часто приходившие сюда, — даже те, что годами проводили вечера в этом парке, не могли припомнить, чтобы здесь когда-либо появлялось такое чудо. Эта девушка подрывала веру в материальность мира: всякому, кто проходил мимо скамьи, где она сидела, казалось, будто он прошел несколько шагов в каком-то ином мире. Даже старикашка, который много лет подряд прогуливался в этом парке, опираясь на палку, заканчивавшуюся острием, как открыл рот, так и шел до самого конца аллеи. А уж этот-то старикашка многое видывал, многое мог бы рассказать о майских ночах, когда — задыхаясь от злорадного удовольствия — вспугивал со здешних скамеек жалкие парочки.

Девушка сидела с парнем. Парень был одних с ней лет, иными словами — девятнадцати-двадцати, и тоже красивый, но она затмевала его любимым, самым незначительным жестом или взглядом. "В этой девчонке словно кусок солнца внутри", — думал каждый, кто проходил мимо. В эту минуту она заговорила:

— Уже поздно. Мне пора идти.

— Как хочешь, — сказал парень. — Мне и здесь неплохо.

— Так ты сделаешь то, что я просила, или нет?

— Я же тебе уже сказал.

— Смотри — пожалеешь.

— А это уж мое дело, — ответил парень. Он вытащил из кармана пачку, стукнул по донышку, вытащил папиросу и закурил. Потом снова сунул пачку в карман.

— Я тоже курю, — сказала девушка.

— И нехорошо делаешь. Никотин вреден для здоровья. И потом от этого портится цвет лица.

Она посмотрела на него, сощуриив глаза. Глаза у нее были темные, цвета бронзы, и переливались какой-то медовой влагой. Она что-то хотела ответить, но тут со скамейкой поравнялся мужчина в синем потертом костюме.

Это был какой-то мелкий чиновник; за всю свою жизнь он так ничего и не достиг, потому что лишен был таланта и терпения. И, естественно, он считал себя несправедливо обиженным и непонятым. Он глянул на красивую девушку на скамье и подумал: "Боже! Если бы рядом со мной была такая! Может, все пошло бы по-иному? Такая женщина может все перевернуть; может, ради нее я бы попробовал еще чего-нибудь добиться? А так, что ж — не удалась жизнь. Эх, черт... Нет, надо сходить в кино. Что-то я начинаю скучать..."

Глядя ему в спину, девушка спросила:

— Так дашь или нет?

— Я не люблю повторять, — нехотя ответил он.

Она посмотрела на него своими темными глазами и тихо сказала:

— Сукин ты сын!

Он рассмеялся. Толкнул носком ботинка камешек, лежавший на дорожке, и сказал — тоже тихо, певуче:

— Ты немного ошиблась. Я ведь не твой сын.

— Если б ты был моим сыном, — сказала она, — уж я бы знала, что с тобой сделать.

Он искоса глянул на нее и лениво произнес:

— Чего же ты у меня спрашиваешь совета, как поступить со своим?

— Это и твой ребенок тоже.

— Очень ты красиво говоришь, — процедил он, — и даже трогательно, если со стороны послушать. Только я был с тобой тогда не один. Там были Метек, Роман и еще несколько ребят. Что же ты именно ко мне приходишь за деньгами. Я что — святой Николай?

— С теми у меня ничего не было.

— Ну, положим, ты с ними выходила во двор...

— Я просто хотела освежиться, пройтись немного. Была такая чудесная ночь...

— Ах, вот оно что... — равнодушно сказал он. Погасил папиросу и, откинувшись на спинку скамьи, потянулся. Глянул в небо и произнес:

— Жаль, я давно разучился верить в чудеса. Мне еще не доводилось слышать, чтобы девчонка шла к реке с парнем только для того, чтобы поглядеть на луну. Как правило, в таких случаях луна глядит на них.

Девушка подняла голову и посмотрела на него. Она молчала, растирая в пальцах зеленый листок. Руки ее напоминали руки мадонн на старинных иконах: длинные, узкие, нервные, живущие какой-то своей, особой и прекрасной жизнью. Человек, который в эту минуту проходил мимо них, глянул на девушку, потом на ее руки, и у него перехватило дыхание. То был начинающий писатель, который мечтал написать большой роман о большой любви, которую так мучительно и безнадежно ищут люди. В этот миг весь будущий роман с поразительной ясностью вдруг предстал перед его глазами; вот уже много месяцев его преследовали отдельные сцены, диалоги, лица, но только в эту минуту он выделил творение своей жизни, как завершенное целое. "Вот оно! — лихорадочно подумал он. — Наконец-то я все понял. Они встретились в этом парке; на этой скамье, совершенно случайно. Между ними возникла любовь. Потом первая любовная ночь... Они ведут себя нарочито грубо, цинично, потому что заранее решили избежать осложнений, всяких там чувств и разочарований. Но со временем происходит неизбежное — они понимают, что любят друг друга. С великой, всепокоряющей, повергающей на колени страстью. Но они не могут в это поверить — им мешает та, первая их ночь. И все же в конце концов они сознают: им суждено быть вместе, навеки связанными своим огромным чувством. О, это будет книга, дышащая гневом..." И обрадованно прибавил шаг.

Девушка сказала:

— Ну, хорошо. Как хочешь. Но я тебе сделаю подарочек. Уж можешь не сомневаться — другие тоже узнают о нашей великой тайне. И ты в два счета вылетишь из института. Улыбнулся тебе дипломчик, мой дорогой. Уж я постараюсь.

Он сказал не оборачиваясь:

— Слушай, ты становишься смешной, а это скучно. Лично я ничего так не боюсь, как быть смешным.

— И все-таки тебе придется.

— Ты не очень-то рассчитывай. Я тоже могу тебе кое-что припомнить. Например, такой случай: ночь, парень в казарме вспоминает свою девчонку и мечтает о той минуте, когда он к ней вернется. Красиво, а? А тем временем, — он вплотную придвинулся к ней и жестко продолжил, — а тем временем его девчонка развлекается в ресторане с двумя довольно немолодыми типами. У каждого из них ноги трясутся, но зато у каждого — свой магазин на Хмельной. А потом она едет к одному из них, она уже здорово под мухой. И там она с ними развлекается до утра. А утром она, разумеется, рассказывает им трогательную историю об отце, которого по ошибке посадили, и о том, как они с матерью голодают. А потом она одалживает у одного из этих старых бабников пятьсот золотых и покупает себе две пары нейлонов. Как в жизни, а?

— Ну, я бы не сказала. Я знаю куда более интересную сказочку. Об одном парне, который подделал документы, чтобы попасть в институт, и произносил разные трогательные речи, пока ему это было выгодно. Он даже научился говорить, как в предместье, чтобы поверили, что он из настоящих пролетариев. А между тем папочка присылал ему посылки из Америки, и сыночек довольно неплохо одевался для пролетария, потому что папочка ухитрялся обдывать в Америке всякие темные делишки. Ах, этот папочка, этот "безработный врач" по анкете. Ну, как, интересно?

— Я дам тебе половину, — сказал он. — Остальное ищи сама.

— Нет, мой милый, — насмешливо произнесла она. — Ты мне дашь все или ...

— Что или? — прервал он, стиснув ее руки.

— Ничего. Я не буду повторять. Не хочу быть смешной. Я тоже ничего на свете так не боюсь, как показаться смешной.

— Ладно, — твердо сказал он и тяжело посмотрел на нее; она насмешливо улыбнулась. — Через две недели получишь деньги.

— Раньше. И так уже поздно.

— Раньше и думать нужно было, сволочь!

— Это ты мне говоришь?

— Не на все нужно соглашаться, курва...

— Тише, ты! — прошипела она.

Рядом с ними проходила пожилая пара: старик со старухой, седые и сгорбленные. Они прожили вместе много лет; они были верующими и полагали, что каждый день их земной жизни дарован им Богом. И были ему благодарны за это. Старушка посмотрела на девушку, и вдруг слезы потекли по ее морщинистым щекам.

— Что с тобой? — встревожился муж.

— Почему Бог не дал нам таких красивых детей? — отирая слезы, прошептала она. — Почему он не дал нам таких детей?

Старик стиснул ее слабую, сморщенную ладонь:

— Мы любили друг друга, — медленно произнес он. — Нам было хорошо. Бог нам простит, что мы никого не оставляем на этой земле. Ведь это не по нашей вине.

— Да, — с трудом проговорила она и вздохнула, — да... Но ведь могло быть так хорошо...

Сгорбленные, седые, они медленно удалялись в глубину аллеи. Парень заговорил:

— Ну, подожди, я тоже отыграюсь. — Он помолчал и добавил: — Вот выйдешь замуж...

— И что тогда?

— И будут у тебя дети, свой дом, муж...

— И что тогда?

— Ничего. Я как-нибудь заскочу к вам, ты меня познакомишь со своим мужем. Посидим, поговорим о старых делах...

— Так на той неделе, значит?

— Да.

— Хорошо, — сказала она. Откинувшись на спинку скамьи, и солнце осветило ее прекрасное лицо; каждый волосок, каждая клетка тела, глаза, губы, плечи — все, казалось, было наполнено солнечным светом и сверкало, как солнце. Минуту она смотрела на зеленые кроны деревьев, потом тихо сказала:

— Тебе долго придется ждать.

— Ничего. Когда любишь, всегда приходится ждать.

— Ах, вот ты как? — прошептала она.

И замолчала. Закат бледнел на ее лице по мере того, как солнце медленно уходило за деревья. В последних его лучах и увидели ее двое мужчин, устало возвращавшихся с работы домой. То были уже немолодые люди; лица их были изборозжены морщинами, и на висках поблескивала седина. Один из них, тот, что был пониже, глянул на девушку, и лицо его исказилось от боли.

— Что с тобой? — спросил второй.

— Да нет, ерунда, — ответил первый, стараясь изобразить улыбку. — Ерунда.

Жестом смертельно усталого человека он провел рукой по лицу и сказал:

— Я же знаю, что нужно радоваться. Но понимаешь, — порой это так трудно.

— Чему радоваться?

— Когда я отсиживал перед войной свою десятку, — сказал низкий, — я все мечтал, что, когда наша борьба кончится, наши девушки будут такими, как вот эта. Когда меня посадили, я был совсем еще зеленый — как этот парень, что с ней сидит, представляешь? Я был совсем наивный и думал, что вот так будет выглядеть коммунизм... Правда, потом, когда мне пару раз прошлись по ребрам, мои представления немного изменились.

— Так чего ж ты грустишь?

— Понимаешь, трудно все-таки порой, когда думаешь, что так и не встретил в жизни такую девчонку...

— Ерунда, — сказал второй. Подбадривающе толкнул в бок своего товарища и добавил: — Разве это самое важное? Самое важное, что такие есть, что они такие красивые, что они любят своих парней и что парни их тоже любят.

*Произведения Хласко перевел с польского
Рафаил Нудельман.*



Ицхак МЕРАС

ПОЛЧАСА

В НЕЗНАКОМОМ ДОМЕ

РАССКАЗ

Война, война, думал я про себя, ну так что, разве уж так важно, что творится вокруг?

До сих пор не знаю, как все это случилось, словно во сне, а может, и был это сон на самом деле. Не то велел мне кто, не то попросил меня зайти в тот дом, хотя и не ведал я, чего иду, и к кому иду, и зачем — просить ли, брать или давать. Хотя, признаться, словно чувствовал, словно понимал, куда иду и зачем.

И таки пошел я, хотя и не вспомню — как. Не пешком шел и ехать не ехал, словно по ступенькам каким-то взбирался.

Очутился я в прихожей, там серый свет из длинных окон падал, а может, электрические лампы светили по углам, но уж очень запыленные, видно, они были, ибо странным все казалось кругом — какие-то одежды бесцветные на одной стене, старинный резной буфет у другой, изогнутым верхом накренившийся, одним стеклянным глазом зло поблескивающий. Другой глаз, средний, матовой пленкой затянувшийся,

словно слепец. Третий — черной бездной раскрывшийся от любопытства, как и я. И пол — не то деревянный, не то из камня — через серый туман еле различимый, жесткий, гнетущий.

Война, война, думал я про себя, — разве так уж важно, что творится вокруг.

Тихо было, как в гробу, не появлялся никто, неужто не позвонил я у входа, но все равно никто не показывался, и я попытался представить себе, разглядеть в этом блеклом свете прихожей женщину, которой я был нужен.

И замелькали, пронеслись видения жуткие, хотя и утешал я себя: и красива она, и не стара, и привлекательна, но туманные видения по-своему сменяли друг друга — промелькнула старуха с усохшим телом и поблескивающим левым глазом, зрелая девица с толстыми, как колоды, ногами, пухлая рука, рыжие волосы, боязливое белое лицо, прячущееся от посторонних взглядов.

В это время мужчина в прихожую вбежал. Светловолосый, в очках, небольшой такой мужчина. Он торопливо оглядел меня, мимо промчался, опустив голову, к стенке, вздувшейся бесцветной одеждой, прислонился, затем вернулся, и застыдил я в глубине души, застыдился того, зачем пришел. Не ждал я мужчину, меня встречающего, ведь вроде бы женщина должна была меня ждать. И утешал я себя, и убеждал я себя — может, не мужчина он вовсе, может, к жене его пришел. Может, он сам и вызвал меня.

Все же я пробормотал что-то извиняясь.

Или так только почудилось.

Ибо не почувствовал я, чтобы губы мои шевельнулись, и звука никакого ушами не услышал.

И его губы не дрогнули, и звука никакого не было, когда он уставился на меня и спросил:

— А ты чистый?

Я повернул голову, не поняв, тоже спрашивая.

— Здоров ли? Здоров.

Он другое спрашивал.

— А твое тело чистое?

Никак не мог вспомнить, мылся я в этот день или нет, и не соображал — день теперь или вечер, утро или ночь.

Пока я стоял так, опустив голову, пытаюсь что-то понять, он сказал:

— Раздевайся.

Он стоял напротив, этот небольшой мужчина, этот очкастый человек с незапоминающимися чертами лица, и терпеливо ждал, а я медленно тянул через голову свитер и думал, что некрасиво, очень некрасиво будет, если и впрямь не очень чистый я, если он увидит это, так как, чего доброго, и вправду не успел я сегодня умыться. Война, война, думал я, война, ну, неужто так все важно. И хотя совсем все равно было, совсем безразлично все, не хотел я, чтобы выгнали меня.

— И брюки, — сказал он.

Будто во сне делал я все, что он велел. И брюки снял, хотя сам не знаю как, может, мужчина этот помог. Только холод почувствовал, дрожь по телу пробежала, может, прихожая не отапливалась.

Между тем мужчина ловко продолжал свою работу. Засучил он мою рубашку и спину царапнул жесткой щеткой, сильно подув при этом. Пушок на всем теле дыбом стал, и я еще более задрожал, боясь, чтобы не взлетела, потревоженная струей воздуха, какая-нибудь пылинка, чтобы не выгнали меня.

Чего доброго, чистый я был, или это больше не интересовало мужчину, только почувствовал я на левом бедре укол тупой иголки, болезненный и неожиданный, — зачем эти лекарства и что за лекарства? Чтобы не заразил? Не оплодотворил?

Он охранял здоровье своей женщины?

Или чужих детей не хотел?

И рассмеялся я, как смеются во сне, ибо смешно мне было, так, как во сне бывает.

Мужчина делал свое дело не впервые, я мог на него положиться, он знал, что делает, только очень спешил — может, так всегда, или только в этот раз, может, я слишком замешкался, может, и вправду приближался чей-то последний час, а я старался вспомнить, бывают ли лекарства, чтобы не зара-

зить, бывают ли такие, чтобы не оплодотворить, и какие еще лекарства бывают в таких случаях.

Тогда он втолкнул меня в соседнюю комнату.

И тогда я угадал.

Должно быть, угадал.

Чтобы быть настоящим мужчиной — сильным женщиной.

Мне стало спокойней. И приятней. Я мог полагаться на себя в любом случае. Мог выдавать себя за мужчину не страшась.

Только выглядел я неважно в жалкой оставшейся на мне одежде — в потрепанной майке и трусах.

В таком виде меня и втолкнули в эту огромную комнату, мягкой мебелью обставленную, и три женских существа спокойно сидели там в ожидании, и я бесконечно застыдился, в таком обнаженном и потрепанном виде очутившись в незнакомом доме, среди трех женщин, и стал я словами и жестами извиняться, и долго извинялся, однако они все не обращали внимания на эти извинения, ни на меня самого, и понял я, что ничего такого, ничего страшного, а может, даже и совсем привычно, ведь я был предметом, доставленным, подготовленным и брошенным сюда для определенной надобности, и все остальное не имело никакого значения, а может, они притворялись, и я спокойно уселся в мягком кресле, и ногу на ногу забросил, и об одежде забыл, и полутемную комнату осмотрел, и женщин, всех трех; беспокоило меня, почему их здесь трое и какой из них предна-

значался я, неужели всем, вряд ли всем, ведь думал найти здесь только одну, но если трое их сидело, что поделаешь, просто не надо было обращать внимания, ведь и они не замечали, что был я всего лишь в потрепанной майке, может, так и должно было быть, а может, все они сидели вместе, чтобы одной из них было легче ждать — меня ждать, а может, сидели они все трое, чтобы разговор какой завязать, чтобы познакомились мы, что ли, или хотя бы о погоде поговорили, что ли, чтобы все стало простым-простым, и я осмотрел женщин, всех трех, ища жену очкастого мужчины, которой, как думал, предназначался я.

Никакого знака, никакого движения, словно заколдовал

я их, а может, они меня заколдовать хотели. Безмолвие пропитало воздух, и вещи, и женщин.

Я с кресла поднялся.

— Имя мое, — сказал я, — ...

И поклонился каждой в отдельности.

— Фамилия моя, — сказал я, — ...

И снова оказал честь каждой.

Никто не ответил, даже не дрогнул, и тишина все длилась, начиная пугать.

Неужели все, думал я, неужели всем я нужен, и как тут начать, или они сами начнут, или какой знак подать надо, что я готов, хотя и не чувствовал себя мужчиной, может, лекарства еще не подействовали.

Сел я опять в свое кресло и сосредоточился, стараясь хоть какую-то жизнь почувствовать, ведь живыми же были эти женщины, все три.

На диване, в угол локтем упершись, телом половину кресла заполнив, сидела пожилая женщина. Я видел ее большое круглое лицо, пышные волосы, обрамляющие это лицо, крупные руки, полуобнаженные, такую же крупную грудь и бедра, черную одежду на ней, круглый живот, той же одеждой стянутый. Она и была, видимо, женой очкастого.

Но она даже не взглянула на меня, может, я не был ей нужен.

Во вторую всмотреться никак я не мог. Словно видел ее, но не видел. Она маячила у меня перед глазами как тень, как темная тень, потому что комната была такой же серой, как и прихожая, и никакого яркого цвета не было вокруг, как во сне. И видел я ту вторую всего лишь, как темный силуэт, и хотя я знал, что она молода, и хороша, и привлекательна, и лучшая из них — если ей-то и был бы я нужен, — но не видел ни ее глаз, ни губ, ни щек, ни рук, хотя и знал я, что они есть, сливалось все это с ее стройным телом, вытянувшимся, почти лежащим в таком же кресле, как мое, и видел я ее глядящей не на меня, а напротив, на третью — на девушку, застывшую на краю широкой кровати.

Посмотрел и я на нее и понял: не напрасно спешил светло-

волосый очкастый мужчина, подготавливая меня. Было время — самое время, — самый последний час.

Бледное лицо. Белая шея. Разбросанные светлые волосы беспорядочно падали на плечи. Тонкое платье на голом теле, длинное, до самого пола, без рукавов, с глубоким вырезом. Ноги сдвинуты, бедра в складках этой ночной одежды затеялись, едва края кровати прикасаются. Руки к бокам прижаты, в середине немного согнуты, кисти рук на колени положены. И взгляд серых глаз, в меня впившийся — колющий, прокалывающий и вдаль уходящий, словно глаза наблюдают за тобой, а может, и вовсе не видят, а может, видят и тебя, и все, что за тобой, словно давая понять, что все это — ты и все, что за тобой, — только тени.

И таилось в этом застывшем теле и в этих тусклых глазах жуткое спокойствие, которое вот-вот должно было лопнуть, взорваться, разорая все, что есть вокруг, разметая, убивая, опустошая по пути безжалостно прорвавшейся силой и разлетевшимися осколками.

Но прежде всего должен был раздаться жуткий нечеловеческий крик.

И боязливо насторожились — другие две женщины и я. Сейчас воздух должен был расколоться от вопля.

И губы ее уже дрогнули раскрываясь.

Тогда та — женщина или девушка — темный силуэт, изящная, стройная тень, которую я никак не мог разглядеть, — еще больше вытянулась в кресле, закинула вверх голову и начала гладить себя, словно бы я ее гладил. Скрестив на груди руки, она обняла себя, словно бы я ее обнял. Ее тело изогнулось дугой и заколебалось, закачалось, переворачивалось с боку на бок, словно я его сильными руками перекидывал, и мне казалось, что так оно и есть на самом деле.

И никакой крик не раздался.

Уголками глаз я видел: светловолосая девушка сжала губы, наклонилась вперед.

И пальцы, длинные и тонкие, почувствовал я.

Она схватила меня за руки, опрокинула на кровать и опустилась на меня медленно, не спеша, ладонями в мои ладони упираясь, словно с вышины, и почувствовал я ногами ее

ноги и тепловатые бедра, и живот ее, жаркий живот, и грудь ее, девичью грудь, и руки руками, и губами губы.

Война, война, война, разве уж так важно, что творится вокруг, еще подумал и отдался ей, хотя взгляд ее тусклых глаз и теперь поймать я не смог, он пронизывал меня, вдаль уходя, видя, может быть, только тени.

Волосы были мокрыми от пота, когда я проснулся, сердце билось часто и громко. Лежал я в своей постели, на своей подушке и своим одеялом был прикрыт, а напротив белела стена — голая стена моей комнаты.

Над Иудейскими горами выступал край красного солнца.

Раннее утро врывалось сквозь четырехугольник окна.

Так лежал я навзничь, не желая даже шевельнуться, пока не почувствовал гжучую боль в левом бедре.

Когда я сбросил одеяло, повернулся на бок и поднял голову, я увидел там темную точку — почерневшую капельку крови.



Анри ВОЛОХОНСКИЙ

В НЕБЕ КАМЕНЬ-ЛУНА.

ПЛАЧ ЛОТА

Ах зачем, ах зачем оглянулась она
 Вот и стала: соленый болван
 Мимо гнал по долине горы и холма
 Кочевать бедуин караван

Ночевать бедуину велела луна
 Он раскинул шатер-балаган
 Ах зачем же зачем обернулась она
 Вот и стала — соленый болван

Да и выдался вправду такой вечерок
 Вся округа — пузырь смоляной
 По железу чугуна в черепах поперек
 Голый воздух колдует смолой

Хохотали зятя индюком петуха:
 — Значит, нефть — говоришь — керосин,
 В бороде седина — в голове шелуха,
 Перебрал — да и верно, — хамсин

А сегодня луна как шалфей и шафран
 Развернула седой сарафан
 Ах зачем же тогда оглянулась она
 И стоит — как соленый болван

— Значит, дождь — говоришь? Керосин — говоришь?
 Ты как Ной нам вещаешь навзрыд:
 На пороге плясать чтоб не падали с крыш
 А ковчег в огороде зарыт

Поднесите пророку смокву и хурму
 Лопухов принесите ослу
 Ну-ка разом, друзья! Да всем хором ему!
 Как вчера — молодому послу

И кудахтали: "Ах ты — вот так-таки-так"
 И сказал бы: "А я за юнцом
 Хоть в пучину, в пустыню, в пещеру, в кабак!"
 Что за прелесть с веселым концом...

А луна над пустыней одна солоня
 В серебре головы котлован
 Но зачем же туда обернулась она
 И застыла: соленый болван!

... Хлопотливых чудес чтоб с дружкой в лопухи
 Про бензиновый дождик плести
 Десять рыбок? — Пойди поуди из ухи
 Целый город — и нет десяти

— Ну, подругу по кругу — да круг по домам
 Встали в сумерках — ляжем чуть свет
 Попугай же бензином асфальтовых дам
 Поливай керосином проспект!

Холодна над пустыней ее голова
 И горька словно дым седина
 Солоней чем Соленое Море глаза
 Ах зачем ты глядела туда

Над смолой серебра и над серой луны
 В нефть одетая ночь-бедуин
 От пожара взошла головою жены
 И глотнула очами бензин

Солона и горька, холодна и нема
 Над пустыней сверкает одна
 В небе камень-луна как ее голова
 Словно камень сверкает она.

1976.

О ВАВИЛОНЕ

(Из Исаяи, гл. 13 и 34)

Голос Господа рек:

Пусть отныне
 Там поселится тварь из соленой пустыни
 Дщери страусов рядом с отродьями неясней
 Там мохнатые будут плясать и беситься
 В опустелых палатах степные собаки залают им вслед
 А из храмов услады шакалы кричат им в ответ.

Властелины там будут отныне ежи и сычи
 И филин и ворон на страже ночной и дневной
 Пусть мохнатые там выкликают друг друга в ночи

Пусть там встретятся твари пустыни с собакой степной
 И шакалы и страусов дщери в репьями заросшими домах
 Где совы-убийцы влетают в покои впотьмах
 Пусть гнездо там свивает кипоз и потомков под семь своих
 крыл зазывает
 И коршунов племя тоскливое стаи скликает.

1976.

Борис ХАЗАНОВ

"ЗАПАХ ЗВЕЗД"

Повести и рассказы ("Запах звезд", "Взгляни в глаза мои суровые", "Дорога на станцию", "Час короля" и другие),

256 стр. Цена в Израиле — 28 лир, за границей — 3 доллара. При заказе непосредственно в издательстве — 25 лир.

Выходит из печати в январе 1977 года.

Заказы принимаются по адресу: ул. Нахмани, 62 Тель-Авив. Издательство "Время и мы".

(К заказу должен быть приложен чек, и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.)



Михаил ЛЕДЕР

АФЕРА, ИЛИ ДЕЛО, КОТОРОЕ ТЯНЕТСЯ 22 ГОДА

(Продолжение. Начало см. в № 11)

ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВА И ПОДЛОГИ

В предыдущей главе говорилось о двух роковых встречах, во время которых окончательно определились позиции сторон в будущей "афере". Это — последняя встреча Лавона с Джибли. Министр обороны уже не ограничивается на этот раз уговорами кончить дело миром и призывами к благоразумию. Он прямо обвинил Джибли в злостной клевете (кстати, все сказанное во время этой беседы, по распоряжению Лавона, было тщательно застенографировано); Джибли, как помним, упорно настаивал на своем.

Когда беседа подошла к концу, Лавон и понятия не имел, что Аври Элад-Зайденберг ("Третий человек"), через которого был отдан приказ каирской агентуре действовать, еще в августе был в стране. Он со всей настойчивостью повторил свое требование немедленно отозвать Элада из-за границы и доставить его к нему прямо с самолета, так, чтобы ни кто не мог поговорить с ним предварительно.

Вторая встреча состоялась между Лавоном и Даяном. Вспомним, что Даян даже выразил готовность немедленно снять Джибли с должности начальника военной разведки и, как принято в Израиле, отправить за границу — на какую-нибудь военную или государственную службу. На учебу, как был послан в 1974 году (с ассигнованием 50000 долларов в год) Эли Заира, начальник военной разведки, "отличившийся" в роковые дни войны Судного дня, Джибли нельзя было послать, так как он только недавно вернулся с учебы. Однако несколько часов спустя Даян передумал увольнять Джибли, так что Лавону не оставалось ничего, как требовать от главы правительства назначения следственной комиссии. Глава правительства Моше Шарет такую комиссию назначил, но и ему пришлось выдержать довольно острую борьбу в партии.

"Пинхас Сапир поддержал возражения Эшколя против расследования каирского ужаса", — пишет Шарет в своем дневнике. — Пришлось поспорить с ним довольно резко. Я категорически заявил, что не согласен больше нести ответственность, не выяснив обстоятельно всего. Опасения, что в результате расследования станут известны взаимоотношения, царящие в верхах Министерства обороны и армии, и получат гласность страшные обвинения, которые люди там бросают друг другу, несостоятельны.

Не потому, что они лишены оснований, а потому, что такова действительность. И если даже отказаться от расследования, то это все равно ничего не даст, а только само по себе явится скандалом.

Голда поддержала меня энергично и безоговорочно, потребовав начать дело еще две недели назад... Тем временем выяснилось, что о расследовании уже стало известно высшему командованию, а также в Министерстве обороны — видно, сам начальник генерального штаба и генеральный директор Министерства обороны рассказали о нем... Я распорядился, чтобы выразили Моше Даяну и Шимону Пересу мое глубокое недовольство... Расследование можно было проводить тайно, если бы они не позаботились растрюбить о нем; возможно, приложил руку и сам министр обороны, каждый в своих целях".

Тем временем Джибли и Бен-Цур не сидели сложа руки. Придя к выводу, что как бы они ни тянули с отзывом Элада из Европы, а все равно отозвать придется, если даже не по приказу Лавона, то для показаний следственной комиссии, они направляют к нему нарочного с инструкциями. Время перейти к показаниям Аври Элада-Зайденберга, против ко-

того ведется в эти дни явно инспирированная кампания. Он, дескать, патологический лжец и предатель, и потому на него стремятся свалить все (на нем и впрямь лежит большая вина, за что он отсидел в израильской тюрьме 10 лет). Однако все-таки приведем отрывок из его воспоминаний, тем более, что в этой части их правдивость подтверждена приговором суда по его делу, а также заключением бывшего генерального прокурора страны Гидеона Хаузнера относительно выводов следственной комиссии Когена 1960 года.

Вот, что пишет "Третий человек" в своих воспоминаниях:

"Пока (в Каире) шел процесс, я, в соответствии с полученными указаниями, был в Европе. Последнюю неделю декабря я провел с друзьями в Мюнхене, пытаясь восстановить там свои коммерческие связи. В Новогоднюю ночь уже под утро зазвонил телефон. Я дотащился до него, еще как следует не проснувшись. Без всяких объяснений мой связной приказал вылететь в Цюрих, немедленно.

— А в чем дело?

— Понятия не имею. С Новым годом! Желаю успехов!

1-го января 1955 года в восемь часов вечера я явился к администратору отеля "Швейцерхоф". Оказалось, что для меня был заказан 207-й номер. Не успел я снять в номере пальто, как раздался звонок телефона. Я поднял трубку и услышал гудение международной линии.

— Господин Франк? — спросил незнакомый голос. Затем он перешел на иврит: — Вылетайте первым самолетом в Париж. Там позвоните по обычному номеру. Вас ждут в Париже завтра. Обо всем никому ни слова".

В два часа утра я был уже в своем номере парижской гостиницы "Турист". Заснув на пару часов и позавтракав, я позвонил связному.

— В два часа дня вас будут ждать у Триумфальной арки, — сказал связной Израиль Шахаль.

Моросил дождь, когда я подошел к обусловленному месту. Меня там ждал подполковник Мордехай Альмог, офицер орготдела военной разведки.

— Шалом, Аври. Пройдем со мной.

Мы вошли в дешевую гостиницу, неподалеку от того места, где жил Иошафат ("Пати") Гаркави, заместитель начальника военной разведки, который выехал на год в Париж, чтобы прослушать курс лекций в Сорбонне. Я сказал Альмогу, что виделся недавно с "Пати".

— "Пати" не знает, что я здесь, — ответил он. — Никто этого не знает. — Когда мы уселись в его номере, он продолжал: — Я приехал к тебе по делу огромной важности. Оно будет доведено только до твоего личного сведения. Меня здесь никогда не было, ты меня понял?

Альмог достал коричневый конверт, заклеенный прозрачной бумагой.

— У меня тут письмо, которое предназначается для тебя одного, — сказал он. — Я сам — и то не знаю, что в нем.

— А от кого?

— Я и этого не знаю. Я только посыльный.

Я внимательно прочитал единственный листок бумаги, исписанный рукой Мотке (Мордехая Бен-Цура) и им же подписанный. Он зывал к моей сознательности и просил о помощи.

В комнате царило гробовое молчание, пока я обдумывал прочитанное. Я думал о трагедии, происходящей в Египте, об опасности, исходящей от определенных лиц в Министерстве обороны, которые стремятся снять с себя ответственность за эту трагедию.

"Эти люди, — говорилось в письме, — замахиваются на самое для нас дорогое, на Армию Обороны Израиля. Если тебе дорог ЦАХАЛ, в чем я нисколько не сомневаюсь, я прошу тебя забыть все, что так или иначе касается операций, выполненных до 22-го июля. Приказ, который ты получил от меня в июне, когда мы виделись с тобой в Париже, касался лишь налаживания связей и подготовки операций. Ничего больше! Приступить к выполнению операций тебе было приказано по радио только 17-го июля. Если у тебя сохранились письма, заметки или что бы то ни было, противоречащее моим сегодняшним указаниям, то немедленно уничтожь их или внеси соответствующие изменения. Когда приедешь домой, скажи всем, кто тебя об этом спросит,

что ты прилетел, согласно полученному приказу, но что дела задержали тебя и ты не смог явиться сразу. Помни, аэропорт будет под наблюдением. Мне было предписано не встречаться с тобой до того, как с тобой поговорят министр обороны и глава правительства. Я обращаюсь к тебе, потому что знаю твое отношение к ЦАХАЛу. Я знаю, что ты примешь правильное решение. Если ты уничтожишь это письмо, то это будет означать, что ты будешь действовать согласно этим моим указаниям".

Я бросил долгий взгляд на Альмога, стоявшего по другую сторону от лампы, а он в свою очередь не сводил своего взгляда с меня. Я уже знал, что поступлю в соответствии с инструкцией Мотке, хотя причин и не понимал. Я понятия не имел, почему я должен отрицать, что мы действовали 2-го и 14-го июля. В этом не было никакой логики. Ведь слишком многие знали, как было все в действительности... Я порвал письмо на мелкие клочки и бросил его в корзину. Альмог облегченно вздохнул.

— Немедленно лети домой, — сказал он, взглянув на меня из-под опущенных бровей. — И вот еще что, Аври: забудь о том, что ты меня видел или слышал. Шалом. Желаю успехов!

... Наутро я достал свои израильские документы, сел на самолет и полетел в Цюрих, оттуда в Рим, чтобы сесть на самолет "Эл-Ал".

В Риме у меня осталось несколько свободных часов, и я вышел погулять. Случайно я прошел мимо того самого магазина канцтоваров, где я купил год назад свой переплетенный в синюю кожу календарь для записей. Вдруг мне пришла мысль! Ведь Мотке приказал уничтожить все письменные документы, касающиеся операций, выполненных до 17-го июля. Я вошел в магазин и спросил — не сохранились ли у них календари за прошлый год? К счастью, такой календарь нашелся, в точности такой же, как мой. Я вернулся в гостиницу и при помощи нескольких ручек переписал свой дневник в соответствии с полученными указаниями. Я немножко помял листы и придал им потрепанный вид. Поработал на славу — комар носа не подточит...

Я прибыл в Лод, заранее никого не уведомив. Тем не менее меня там ждал военный служащий, который мигом вывел меня из здания аэропорта. В темноте я увидел Мотке.

— Поехали к Бенъямину.

В пути Мотке вел себя очень сухо. Вид у него был очень мрачный. Я спросил — зачем вся эта таинственность?

— Да ну тебя, Аври, — ответил он нервно. — К чему эти глупые вопросы! Небось, когда ты сам попал в беду, я отстоял тебя, никаких вопросов не задавая. Положись на меня...

Он сказал, что Лавон пытается увильнуть от ответственности за отданный им приказ. В этом сообщении мне бросилось в глаза известное противоречие. Когда мы встретились с Мотке в Париже в июне, я спросил у него, от кого исходит приказ? Тогда он недвусмысленно ответил: "Не от Лавона. Лавон, — правда, тоже активист, но в данном случае это не он". Так или иначе, мне приказали действовать мои непосредственные начальники, и я приказ этот выполнил...

... Джибли очень нервничал, в точности, как сам Мотке. Он не стал тратить время на всякие там приличия.

— Министр обороны Лавон думает, будто мы пытаемся помешать ему поговорить с тобой. Он уже несколько раз требовал, чтобы мы тебя отозвали для доклада, но мы тянули, как тебе известно. Если он тебя спросит, то скажи, что мы долго не могли связаться с тобой, и что, как только выдалась возможность уехать, не подвергая риску свою деятельность в Европе, ты тотчас выехал. Лавон — человек ожесточившийся, он полон решимости добиться своего. Ты к нему явишься завтра же, сразу после того, как с тобой поговорит начальник генштаба. Лавон хочет знать, выполняли ли ты и твои люди какие-нибудь операции до 22 июля? Если ему удастся вырвать или выманить у тебя признание, что вы действовали до этой даты, то у него бу-

дет в руках доказательство, что ответственность за все это дело лежит не на нем и приказ отдал не он... Он попытается сломить тебя, нажимая изо всех сил. Смотри, не поддавайся! Ничего не подписывай, а то подпишешь ненароком свой собственный смертный приговор"...

(“Гаарец”, 18 августа 1976)

Я потому выписал этот длинный отрывок, что в нем, как в капле воды, отражается суть "аферы", по крайней мере — той ее части, которая всплыла со временем на поверхность. Такие же показания Элад дал и на процессе по его собственному делу в 1959-1960 годах, но материалы этого дела еще не подлежат огласке, и цитировать их не представляется возможным.

Не так давно раздалось требование — в том числе и от Исара Гареля, бывшего руководителя "Мосада", — предать гласности материалы по делу Элада. Но это требование не было удовлетворено. Однако с этими материалами познакомилась, конечно, все комиссия, расследовавшие "аферу" после процесса Элада: "комиссия Когена", "комиссия Бар-Давида", "комиссия семи министров". Забегая вперед, я еще только процитирую две фразы из заключения Гидеона Хаузнера, генерального прокурора страны в 1960 году:

"Офицер запаса" (Мордехай Бен-Цур; М. Л.) послал к "Третьему человеку" (Аври Эладу; М. Л.) нарочного (Мордехая Альмога; М. Л.), чтобы уговорить "Третьего человека" дать перед комиссией Ольшан — Дори определенные показания. Это было сделано с ведома "Высшего офицера" (Бенъямина Джибли; М. Л.). "Офицер запаса" встретил "Третьего человека" в аэропорту... Как "Офицер запаса", так и "Высший офицер" знали, что то, что они пытались сделать, является побуждением к даче ложных показаний".

Но вернемся к Бен-Цуру и Джибли. Все происшедшее дальше напоминает заранее срепетированный спектакль: Бен-Цур достает все рапорты, полученные им от Элада, кроме одного — написанного уже в стране в начале августа, и Элад вносит ночью нужные исправления; в четыре утра все наконец закончено.

"Мне хочется подготовить тебя к встрече с начальником генерального штаба, — сказал Джибли. — Не бойся — Даян задаст тебе единственный вопрос: выполнялась ли тобой или твоими людьми какая-нибудь операция до 22-го июля? После беседы с Данным тебя встретит Мотке".

— И вот еще что, — добавил Мотке. — Ты нас не видел сегодня ночью.

— Ты даже можешь спросить Даяна, почему тебе до сих пор не дали встретиться с нами, — ухмыльнулся Джибли.

Полностью удовлетворенный тем, что общими усилиями мы ответили-таки "штатскую" угрозу, я поехал в свой тель-авивский пансион, в пять заснул, но уже в семь меня разбудил адъютант Моше Даяна.

Мы вошли через задние ворота в лагерь генерального штаба. Меня провели в небольшую приемную Даяна. Он одарил меня своей легендарной, несколько искаженной улыбкой, — его лицо наполовину скрывала черная повязка на левом глазу.

— Рад тебя видеть. Уйма времени прошло.

— Да, немало, — ответил я с улыбкой.

— Давай приступим прямо к делу, — сказал он. — У меня к тебе один-единственный вопрос. — Он сделал небольшую паузу. — Выполнял ли ты или твои люди какую-нибудь операцию до 17 июля?

Я попытался прочесть его мысли. Здоровый глаз Даяна был устремлен на меня. Никак это часть генеральной репетиции? Дополнительная сцена к ночному инструктажу?

— Нет, — ответил я наконец. — Мы действовали только 22-го.

— Это все, что мне хотелось знать, — ответил он. После моего ответа его напряжение тут же спало".

(Аври Элад, "Третий человек". Приложение к газете "Гаарец" от 20-го августа 1976)

Когда он вышел из генерального штаба, — рассказывает дальше Элад, — его встретил, как было условлено, Бен-Цур, затем к ним присоединился и Джибли. Рассказав своим начальникам, что произошло в кабинете Даяна, Элад выразил недоумение: — Что это за вопросы? Даян не знал, что ли? Разве о таких операциях, чреватых политическими последствиями, начальник генерального штаба может не знать?

"— Даян — лиса, Аври, — ответил Джибли. — Он, небось, знал, когда ему нужно было податься в США. — В каждом его слове чувствовалось, что он ничуть не обеспокоен возможной реакцией своего непосредственного начальника".

(Там же)

Сразу после этого Элада повели к Лавону. Тот, разумеется, понятия не имел, что Зайденберга уже успели "обработать", хоть и явился Элад с опозданием на несколько часов. Целых пять часов Лавон расспрашивает Элада в присутствии Эфраима Эврона, тщательно все записывающего.

"Лавон превзошел самого себя, — вспоминает Элад. — Он то хитрил, то становился циничным, говорил то добродушно, то угрожающе, ни на минуту не переставая докапываться до истины, но в конце концов понял, что так-таки не докопается. Я ушел от него изнемогая от усталости. Он был совершенно разбит, и мне едва не стало его жаль".

КОМИССИЯ ОЛЬШАН-ДОРИ

Все рассказанное выше произошло 3-го января 1955 года, назавтра после того, как комиссия Ольшан - Дори начала свою работу. Самого Лавона она заслушала первым, еще 2-го января.

В течение восьми дней комиссия допрашивает заведующего канцелярией Лавона, Эфраима Эврона, Беньямина Джибли, Мордехая Бен-Цура, Аври Элада, Шимона Переса, Исара Гареля и других.

По сути, все показания, кроме показаний самого министра обороны и Эфраима Эврона, направлены против Лавона: Джибли, Бен-Цур и Элад дают свои заранее согласованные ложные показания. Остальные касаются не столько фактов, связанных с операциями в Египте, сколько стараются скомпрометировать Лавона, изобразить отравленную атмосферу, царящую в Министерстве обороны, натянутые отношения министра обороны со своими подчиненными и командным составом армии. В первом же выступлении перед комиссией Лавону удалось без особого труда доказать вздорность версии его противников о том, что он якобы отдал приказ в пятницу 16-го июля, но единый фронт остальных свидетелей, в особенности показания Элада, не моргнув глазом навравшего Дори и его коллегам с три короба, не могли не повлиять на ход дела.

Как записали члены комиссии в своем решении, именно "Третий человек" произвел на них наиболее глубокое впечатление, и напротив, сбивчивые и противоречивые показания Бен-Цура, который был вынужден отречься от им же самим описанного рапорта, произвели на комиссию, скорее, отрицательное впечатление.

Беньямин Джибли не ограничился устными показаниями. В подтверждение их правдивости он выложил перед комиссией копию своего письма к Даяну от 20-го июля, в котором он рапортовал о выполнении приказа "в соответствии с распоряжением Лавона". Как мы уже знаем, последние слова были задним числом дописаны секретаршей Джибли. Когда же комиссия задала Даяну вопрос — значились ли эти слова и в подлиннике, уничтоженном им в целях конспирации, Даян ответил: "Не помню". Все же комиссия в своем решении не исключила возможность того, что этот документ был сфабрикован. И лишь пять лет спустя Гидеону Хаузнеру удалось с полной достоверностью установить факт подделки письма Джибли Даяну.

Был заслушан и Шимон Перес, в то время генеральный директор Министерства обороны. Он, правда, ничего не мог сообщить о "Гиблом деле". Зато довольно много сказал о своем непосредственном начальнике, министре обороны Лавоне.

Первоначально на комиссию была возложена задача расследовать исключительно обстоятельства "Гиблого дела". Впоследствии, когда она уже приступила к работе и без предварительного согласования с Лавоном, ее компетенция была расширена. Так что была возможность говорить о чем угодно.

К тому же это была не судебская комиссия, и результаты расследования, которое было на нее возложено, предназначались исключительно для сведения главы правительства. Поэтому и протоколировалось далеко не все, а члены комиссии только делали себе заметки. Один лишь Лавон привел с собой стенографиста, и его выступления сохранились полностью. И все же, когда министр обороны захотел впоследствии ознакомиться хотя бы с заметками о показаниях Переса, государственного служащего, пусть и высокого ранга, но все же обязанного добросовестно и лояльно выполнять указания министра, ему было отказано в этом под предлогом "секретности" всех этих материалов.

Пять лет спустя, выступая перед комиссией Кнесета по иностранным делам и обороне, бывший глава правительства

Моше Шарет ответил на заданный ему вопрос о характере показаний Переса перед комиссией Ольшан — Дори. Он и тогда сослался на их "секретность", но все-таки признал, что это были "весьма красноречивые показания". Вопрос о том, кто кого подбирает министр обороны генерального директора или, наоборот, генеральный директор министра обороны, — вызвал тогда сильнейшую бурю в стране.

Можно предположить также — да об этом впоследствии говорили даже вслух хорошо информированные люди, — что еще больше повлияли на комиссию опасения как бы вся армия не оказалась дискредитированной, если возложить вину на высшие военные чины, а Лавона, человека, оказавшегося действительно не на своем месте, оправдать.

Так или иначе, комиссия Ольшан — Дори вынесла следующее решение:

"Все, что мы можем сказать, это, что мы не убедились полностью в том, что "Высший офицер" не получил приказа от министра обороны. Вместе с тем мы не уверены и в том, что министр обороны действительно отдал приказ".

Что же касается операций, выполненных до 17-го июля, даты, когда Лавон якобы отдал приказ действовать Беньямину Джибли, то комиссия решила, что "тут загадка, которую мы не в силах разгадать". Текст этого решения заканчивается частным определением, в котором указывается на нездоровую атмосферу взаимного недоверия и неприязни, царящую в верхах Министерства обороны и армии.

ОТСТАВКА ЛАВОНА

"Ничейное" решение комиссии Ольшан - Дори в действительности было вовсе не ничейным. Требуя расследования, Лавон рассчитывал, что комиссия полностью раскроет затеянный против него сговор и докажет полную его непричастность к "Гиблomu делу". Комиссия же никакого сговора не обнаружила, она никого не обвинила, но никого и не оправдала, а лишь указала на нетерпимые взаимоотношения в аппарате Министерства обороны. Уязвленный до глубины души, Лавон сделал единственно возможным в его положении вы-

вод: кто-то должен уйти. Либо он сам, либо Джибли, а вместе с ним и генеральный директор Министерства обороны Шимон Перес, который с самого начала подрывал его авторитет, а теперь еще и скомпрометировал перед лицом комиссии Ольшан — Дори. Да и вообще необходимо было навести порядок в аппарате Министерства обороны.

При Бен-Гурионе никаких разграничений прав и обязанностей между руководителями Министерства не требовалось, Бен-Гурион один выступал в нескольких лицах — он был и глава правительства, и министр обороны, и вождь партии, и главный ее идеолог, и даже главный специалист по изучению Библии, словом — высший авторитет во всех областях жизни страны. При нем было просто немыслимо, чтобы кто-нибудь — будь то министр обороны или начальник генерального штаба, и тем более генеральный директор Министерства, — посмел с ним не считаться. Иное дело Лавон: для того, чтобы он мог и дальше выполнять свои функции, необходимы были, как он думал, срочные организационные меры, и в первую очередь — отставка Беньямина Джибли и Шимона Переса. С этим предложением Лавон и отправился к Моше Шарету.

Однако противники Лавона тоже не сидели сложа руки. К тому же среди его противников были теперь не только его подчиненные и начальник генерального штаба, но почти вся партийная верхушка (за исключением разве одного Залмана Арана) и, разумеется, весь генералитет. Что касается правительства и Кнесета, то они обо всех этих интригах пока еще ничего не знали. Противники министра обороны считали, что наступил наиболее подходящий момент для того, чтобы окончательно добить Лавона. А может быть, и уговорить Бен-Гуриона "править" страной не из Сде-Бокера, а занять пост хотя бы министра обороны, если не главы правительства.

Похоже, что объективно положение и в самом деле сложилось такое, что для страны будет лучше, если Лавон уйдет со своего поста.

Шарет это прекрасно понимал, как отдавал себе отчет и в том, что если Бен-Гурион согласится вернуться, то вряд ли удержится и сам Шарет. Но летом предстояли выборы

в Кнесет, и глава правительства считал, что наиболее разумно пока оставить все как было, никого не увольнять, чтобы как-нибудь дотянуть до выборов. Лавон, увы, и слушать не хотел об этом.

Тогда Шарет вызвал к себе Джибли, говорил с ним очень сурово и заявил ему, что вряд ли он сможет остаться на своем посту. По-видимому, Шарет намеревался вызвать к себе и Шимона Переса и говорить с ним в том же духе, но до этого дело не дошло.

Джибли, уверенный в себе и в поддержке свыше, отправился прямо к Даяну и Пересу, рассказал им о беседе с главой правительства, после чего на Шарета был оказан такой нажим (впоследствии, в 1960 году, Шарету пришлось признаться, что над правящей партией тогда нависла угроза "цепной реакции"), что ему пришлось отступить.

Первого февраля он, в сопровождении Леви Эшколя, Голды Меир, Залмана Арана, едет к Бен-Гуриону в Сде-Бокер без ведома Лавона. Как только Лавон узнает об этом, он тут же, второго февраля, вручает Шарету прошение об отставке. Вместе с тем он оставляет за собой право изложить перед высшими партийными инстанциями, а также перед комиссией Кнесета по иностранным делам и обороне мотивы своей отставки, так как нести ответственность за "Гиблое дело" положительно отказывается и никакая партийная дисциплина его к этому не обяжет.

Вспомним, что к этому времени приговор в Каире был не только вынесен, но и приведен в исполнение, теперь уже нельзя было ссылаться на то, что интересы подсудимых требуют секретного разбора. И тем не менее ничто так не волновало руководство страны и партии Мапай, как опасность того, как бы что-нибудь не просочилось, не дай Бог, наружу. Буквально в последние минуты предпринимаются отчаянные попытки найти выход из положения, обойтись без отставок, которые в тайне, конечно, не останутся. Но вот 11 февраля в газете "Давар" появляется прекрасное по форме, но весьма тенденциозное по политической направленности стихотворение одного из крупнейших поэтов страны.

Натана Альтермана, старинного друга Шимона Переса еще по совместной службе в Пальмахе. Был он и старым товарищем Даяна. Скрытый подтекст стихотворения состоял в следующем: если неизвестно, как и почему погибли герои, то кое-какие выводы делать уже пора. В середине февраля газета "Ламерхав" напечатала под крупным заголовком статью, в которой впервые открыто говорилось о расследовании, проведенном по поручению главы правительства особой, им и назначенной комиссией. Статья содержала намек на то, что участь Лавона предрешена.

Моше Шарету пришлось даже дать опровержение:

"Не по поручению главы правительства был заслушан Лавон, а по собственной инициативе";

"Маарив" публикует сообщение, будто бы редактора газеты "Ламерхав" привлекут к ответственности. Вот как записан этот эпизод в дневнике Моше Шарета:

"... Бомба в "Ламерхаве": ... Бен-Гурион отвернулся от Лавона — заявил, что назначение Лавона было "крупнейшей ошибкой в его жизни"; не кто иной, как я, восстановил Бен-Гуриона против Лавона и т. д. и т. п. ...Вошла Яэль Веред (его секретарь), она потрясена напечатанным. Уверена, что это дело рук Шимона Переса"

... И далее:

"Странные отношения сложились в последние недели между мной

и Лавоном. Он вел себя по отношению ко мне отвратительно и знает об этом. Жестокую месть, которую обрушивают на него теперь люди из его окружения, он сам и вызвал: именно он подал им дурной пример... Все же я за справедливый суд и против линчевания — за то, чтобы решить его судьбу, хорошенько все взвесив, а не очернить его и не оклеветать. Эпи рассказал мне немножко об этой кампании разнуданной клеветы, просто уши вянут. Я даже не решаюсь записать это. Никогда не думал, что мы дойдем когда-нибудь до таких отравленных взаимоотношений, до такой ненависти, жадности мести и взаимного подсиживания в самом крупном и прославленном Министерстве нашего государства".

В тот же день Шарет созывает комиссию Кнесета по иностранным делам и обороне и докладывает ей о работе комиссии Ольшан— Дори и ее выводах. Теперь, когда дело получило огласку, нужно было действовать безотлагательно. Назавтра, семнадцатого февраля, руководство партии Мапай принима-

ет отставку Лавона, но просит его немного подождать, пока не найдут преемника. Лавон ждать отказывается и в тот же день заявляет о своей отставке ошеломленным членам политического комитета, одновременно предав ее огласке в печати.

В Мапае лихорадочно ищут выхода. По предложению Шпринцака (кстати, не очень близкого к Бен-Гуриону), министр труда Голда Меир и генеральный секретарь Гистад-рута Мордехай Намир срочно выезжают в Сде-Бокер, хотя мало кто верит, что из этого что-нибудь получится. Впоследствии Шпринцак, вспоминая об этом эпизоде, сказал не то в шутку, не то всерьез, что, заметив пожар, он схватил первое попавшееся ведро. Лишь потом, выплеснув его на огонь, он обнаружил, что в ведре-то была не вода, а бензин...

Так или иначе, а Бен-Гурион не заставил себя долго упрямиться и согласился принять до выборов дела, правда, одного лишь Министерства обороны. Голда и Намир сообщили об этом Шарету по телефону. Так что всего через несколько часов после того, как ошарашенный обыватель узнал из газет об отставке Лавона (лишь вчера Шарет опроверг такую возможность), экстренные выпуски сообщили, что "Давид Бен-Гурион положительно отнесся к просьбе главы правительства и согласился возглавить Министерство обороны".

Наутро, в пятницу 18 февраля, все газеты под аршинными заголовками оповещают население о возвращении Бен-Гуриона.

В тот же день Мапай разворачивает шумную кампанию вокруг этого события — дело-то было накануне выборов! Поступок вождя представляется едва ли не как жертва с его стороны ради спасения государства. Президент страны Ицхак Бен-Цви телеграфирует Бен-Гуриону: "Да будет благословлено твое возвращение! Желаю много сил, и этими силами и действуй!" Да и сам Шарет телеграфирует Бен-Гуриону: "Глубоко ценю твою отзывчивость на призыв, вижу в ней образец высшей гражданственности, нерушимого товарищеского духа, господствующего между нами. Знаю, чем ты жертвуешь. Да будет тебе энтузиазм народа и армии утешением. Крепись!"

Однако печать встретила Бен-Гуриона куда менее восторженно. Посмотрим, что писали газеты.

Газета "Гаарец", всегда относившаяся враждебно к Лавону (особенно в критические месяцы 1960—1961 годов), писала:

"Уже давно было ясно, что Бен-Гурион вот-вот вернется на политическую арену... Ясно также и то, что его возвращение в правительство, хоть официально он и не возглавит его, знаменует собой на деле конец правительства Шарета".

"Аль-Гамишмар", газета левосоциалистической партии Мапам, писала:

"Уже когда Бен-Гурион "ушел в отставку", многие предполагали, что он вернется, "чтобы спасти положение".

"Габокер", газета так называемых "общих сионистов", входивших в то время в правительственную коалицию (ныне они представляют фракцию "либералов" в Ликуде), возмущена тем, что "кабинет поставили перед свершившимся фактом", так как вопрос о смене министров даже не обсуждался на заседании правительства.

Наиболее яркой была статья редактора "Маарива", доктора Азриеля Карлебаха, опубликованная 20 февраля.

"Пинхас Лавон пал жертвой сговора его самых близких друзей.

Правда, я и сам думаю, что причиной отставки Лавона был провал в работе. Однако...

Во-первых — с каких это пор у нас увольняют за провал в работе? Если бы это было достаточным основанием, то где бы нынче были очень многие из членов правительства?

А во-вторых — за этот пресловутый "провал" в ответе не один лишь Лавон. Иные замешаны ничуть не меньше его. Но те почему-то не уходят; наоборот, они приходят. "Причина" — всего лишь предлог для отставки Лавона. Просто возникла ситуация, когда его нужно было уйти.

Он и начальник генерального штаба были назначены на свои должности одновременно, притом самим Бен-Гурионом еще до его ухода в отставку. На всех троих лежала ответственность за все, что связано с обороной.

...Однако при создавшейся ситуации народ все поймет.

Он всегда с готовностью принимал Бен-Гуриона как руководителя государства. Он с такой же готовностью принимал и его отставку, когда Бен-Гуриону вдруг хотелось предаваться интеллектуальным занятиям или проявлять халуцианскую инициативу.

Но в последние месяцы не было ни того, ни другого. Он не жил ни в Сде-Бокере, ни в Иерусалиме, не работал ни за плугом, ни за рулем государства. Официально он был занят своим хозяйством в Негеве, неофициально — управлением государства...

Но нельзя, как отару овец, разгонять руководителей партии и собирать их снова, когда вздумается, чтобы, скажем, внести изменения в избирательную систему. Нельзя быть "простым гражданином" и в то же время проводить совещания, публиковать заявления и выносить решения, обязывающие правительство".

А времена меж тем были очень и очень нелегкие. Вспомним: в России радовались аресту и расстрелу Абакумова в середине декабря. Гадали о причинах падения Маленкова в середине января. А в Каире шел процесс. Эйзенхауэр с Даллесом всюду нажимали на Израиль, заискивая перед арабами. Шла ожесточенная борьба в правительстве по поводу "неслыханного" бюджета в 633 миллиона лир (в январе 1976 года такие же препирательства вызовут утверждение бюджета, превышающего в двести раз этот: свыше 120 миллиардов лир). Общие сионисты угрожали правительственным кризисом. Каждый Божий день происходили акты диверсий, убийства, обстрелы пограничных сел — в разделенном на две части Иерусалиме, в полосе Газы, на сирийской границе. Приведу для наглядности "краткий перечень событий тех дней:

- | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. XI. 1954 | — Бой с иорданскими легионерами в Иерусалиме. |
| 6. XII. 1954 | — Обстрел с Голанских высот Тель-Кацира, расположенного на восточном берегу Кинерета. |
| 9. XII. 1954 | — Пять бойцов ЦАХАЛа попадают в сирийский плен. |
| 12 XII 1954 | — Сирийский пассажирский самолет задержан израильскими ВВС. |

- 13.1.1955 — Ури Илан, один из пятерых израильских пленных, повесился в Дамасской тюрьме.
18. I. 1955 — Двое трактористов убиты террористами в Маво-Бейтар (Аджуре) на подступах к Иерусалиму.
25. I. 1955 — Убит террористами житель Аин-Гашореш, на границе с Газой.
- И тут же:
6. I. 1955 — Эйзенхауэр: Неизмеримо возросли шансы на мир на Ближнем Востоке.
3. II. 1955 — Вашингтон: Не будет гарантий для Израиля, чтобы не злить арабов.

Что касается взятия в плен пяти бойцов сирийцами и задержки сирийского пассажирского самолета, то эти два события сыграют немалую роль в "афере", и потому мы остановимся на них несколько подробнее.

В те роковые дни особого накала достиг конфликт по поводу демилитаризованной зоны, разделявшей Сирию и Израиль. Командующий войсками ООН, генерал Бернс, даже поставил этот вопрос перед ООН. И вот 9-го декабря 1954 года отряд ЦАХАЛа проникает в Сирию с разведывательным заданием. Всех пятерых бойцов берут в плен, а несколько дней спустя наши истребители задерживают сирийский пассажирский самолет. В середине января один из бойцов не выдержал пыток и повесился в тюрьме. Вот что записал тогда глава правительства в свой дневник:

"Вчера я с нетерпением ждал весточку от Йосефа Текоа о результатах переговоров в израильско-сирийской комиссии по прекращению огня, занимавшейся судьбой пяти наших пленных (их взяли в плен по ту сторону границы, где они выполняли разведывательное задание...). И снова телефон... Ужасное известие... Один из пятерых покончил с собой... Это — сын Фейги Илан из Ган-Шмуэля... Ужасно!.. Юношу принесли в жертву ни за что... И тут же сверлит мысль. Теперь, конечно, скажут, что виноват во всем я: если бы я тогда не распорядился немедленно освободить сирийский самолет, сирийцам пришлось бы освободить ребят, и мальчик из Ган-Шмуэля был бы жив..."

Моше Шарет словно в воду глядел: назавтра, когда сирийский амбуланс доставил труп покойного бойца, Даян, приехавший в Мишмар-Гаярден, чтобы принять останки, устроил небольшую пресс-конференцию, во время которой член кибуца Ган-Шмуэль обратился к нему с просьбой: "Хоть я и не журналист, но можно, я тоже задам вопрос?" Даян улыбнулся и разрешил. "А почему, — спросил кибуцник, — так поторопились вернуть сирийский самолет?" (*Статья Шмуэля Шницера: "Ури Илан возвращается с задания", "Маарив" от 14 февраля 1955).*

"Тем временем выяснилось, — продолжает записывать Моше Шарет, — что организовали эту операцию с непостижимой безответственностью: послали молодых людей, без опытного командира. Их не проинструктировали на случай провала, в результате они на первом же допросе признались во всем. Просто-таки головотяпство со стороны военной разведки..."

Четверых бойцов, оставшихся в живых, сирийцам пришлось через несколько недель вернуть, но самой операции и вызванному ею парламентскому спору между Шаретом и Лавоном — а впоследствии также между Бен-Гурионом и Данном, с одной стороны, и Лавоном — с другой — суждено было сыграть важную роль в "афере".

Как известно, Даян обвинил Лавона перед комиссией Ольшан — Дори в том, что он часто стремился увильнуть от ответственности за военные операции. В данном случае произошло как раз обратное. Лавон не знал о засылке отряда в Сирию. Но когда бойцы оказались в плену, он принял ответственность за операцию на себя, хотя в душе и не был согласен с ней. Позже, в 1960 году, он привел ее как доказательство безответственности действий генерального штаба, вызвав этим упрек со стороны Бен-Гуриона в лицемерии:

"Когда же Лавон врал — в 1954 году или сейчас?"

Что же касается угона сирийского самолета, то тут вмешался сам Шарет, Лавон поддержал его, и самолет был немедленно возвращен, к вящему неудовольствию Даяна, а также, надо сказать, вопреки общественному мнению;

правда, обществу ничего не было известно о том, что самолет вовсе не нарушал израильского воздушного пространства. Кстати, это был один из излюбленных приемов Даяна. Говоря в своих воспоминаниях о том, что он много сделал для освобождения каирских узников, он тоже цитирует свой дневник, а именно то место, где он, в который уже раз, предложил Бен-Гуриону захватить в плен египетских солдат и потом обменять их на узников. Бен-Гурион, разумеется, согласия не дал.

История с самолетом послужила еще и поводом для многозначительной, хоть и не совсем открытой, парламентской стычки между Шаретом и Лавоном. Выступая в Кнесете, Шарет сказал:

"Перед нами выбор: быть "медина́т хок" (правовым государством) или "медина́т шод" (разбойничьим государством)".

Несколько дней спустя выступил и Лавон и сказал, что никакого такого выбора нет, а нам нужно быть **"государством не только права, но и самообороны"**.

Вся эта полемика происходила во второй половине января, когда Лавон не пользовался уже поддержкой даже собственной партии. Сознательно нарушая последовательность событий, мы вернулись к этой истории для того, чтобы еще раз проиллюстрировать, какая обстановка была в те дни в верхушке.

20-го февраля, на очередном заседании правительства (присутствовали все министры, двое из них приехали даже из больницы), Лавон прочел свое заявление об отставке и тут же покинул заседание. Отставка, хоть и вызвала критические замечания со стороны коалиционных партнеров, с которыми руководители Мапая даже не посоветовались предварительно, была единогласно принята. В тот же день Шарет выехал к Бен-Гуриону в Сде-Бокер. Правда, его уже успел опередить начальник генерального штаба Моше Даян, который, однако, в тот же вечер вернулся, чтобы успеть на церемонию прощания с министром обороны. Даян "сердечно" поблагодарил его от имени высшего командования за все то, что он сделал для ЦАХАЛа. Не кто иной, как Шимон

Перес, преподнес Лавону подарок от имени работников Министерства. Бывший министр обороны обошел почетный караул, на этом и завершилась его военная карьера.

Наутро Лавон прочитал заявление об отставке также перед комиссией Кнесета по иностранным делам и обороне. Он кратко изложил положение дел в армии и Министерстве обороны, признал, что были не только успехи, но и немалые недостатки, за которые он, как министр, полностью отвечает. Однако за "Гиблое дело" он лично снимает с себя всякую ответственность. Отдавая себе отчет в том, что сейчас не время требовать нового расследования, Лавон уверен, что наступит день, когда с него будет смыто это позорное пятно.

В тот же день Шарет коротко докладывает в Кнесете об отставке Лавона. Разумеется, он не может открыто говорить там, что причиной отставки министра обороны явилось "Гиблое дело". Поэтому он заявляет о своем несогласии провести ряд организационных мер в работе Министерства обороны, предложенных Лавоном. Шарет также не скупится на славословия и выражает надежду, что Лавон еще сослужит свою службу государству. Сам Лавон на заседании Кнесета отсутствовал, в прениях никто, и в особенности депутаты партии Мапай, заинтересован не был. Поэтому, после того как выступило несколько депутатов, состоялось голосование, предложение главы правительства удовлетворить заявление Лавона об отставке получило большинство, Бен-Гурион принес министерскую присягу и занял место в одном из зеленых кресел, предназначенных для членов правительства. Из прений упомянем лишь выступление Ицхака Бен-Арона, сказавшего:

"Мы требуем, чтобы правда об этом весьма серьезном деле не была положена под спуд и не осталась личной тайной какой-либо одной партии. Те, на кого ложится ответственность за это дело, не могут быть одновременно единственными следователями и судьями... Интриги, вызвавшие отставку Лавона, привели бы к падению хоть кого, и Бен-Гурион вернулся в правительство не для того, чтобы исцелить недуг, а чтобы спасти свою партию".

Назавтра, в понедельник, Бен-Гурион официально занял кабинет министра обороны и первым делом пригласил к себе своего предшественника. Во время беседы Лавон изложил ему, какие организационные меры, на его взгляд, следует принять, чтобы наладить нормальную работу в Министерстве обороны и не только тогда, когда его возглавляет Бен-Гурион, но человек, не обладающий таким авторитетом. Речь шла о четком разграничении прав и обязанностей, а главное — о контроле за деятельностью Министерства, а также генерального штаба со стороны правительства и ряда комитетов, которые необходимо для этого создать. Бен-Гурион попросил Лавона представить ему эти предложения в письменном виде. Спустя несколько дней Лавон выполнил эту просьбу.

МЕТАСТАЗЫ

22 февраля 1955 года Кнесет утвердил отставку Лавона и назначил Бен-Гуриона на пост министра обороны. Моше Шарет, правда, оставался по-прежнему главой правительства, но было ясно, что дни его сочтены.

В июле предстояли парламентские выборы, и не только вся партия Мапай, но и сам глава правительства видели именно в Бен-Гурионе вождя и будущего премьера. И действительно, в июне Моше Шарет подал в отставку.

Они были очень разными, эти два выдающихся политических деятеля, неспособные "ужиться" в рамках одного и того же правительства. Для иллюстрации приведу только по одному высказыванию каждого из них. Прощаясь с армией 16 февраля 1963 года, в день своей окончательной отставки, Бен-Гурион сказал:

"Когда мне приходилось отдавать приказ и отправлять наших парней на дело и у меня не было уверенности, что они вернуться, — я даже не буду пытаться выразить, что я тогда переживал. Ибо я видел перед собой матерей — еврейскую мать, которой сообщают, что ее сын пал в бою. Почти перед каждым делом я знал, что кто-нибудь погибнет. Погибший — погиб, но мать остается со своим горем до

конца дней. И нет у меня сил — я сомневаюсь, есть ли они вообще у кого-нибудь, — выразить все то горе, которое обрушивала на меня эта тяжелейшая ответственность перед еврейской матерью".

А вот что писал в своем дневнике Шарет в критические для него дни 1955 года:

"Поди объясни каждому встречному, что суд в Каире — дело наших рук, что наши бойцы попали в сирийский плен, выполняя задание, разработанное нами, и если бы попались арабы на нашей территории, то мы бы их уничтожили на месте, не вдаваясь ни в какие рассуждения, как это было сделано с "легионерами", случайно оказавшимися на нашей полосе, неподалеку от Мевот Бейтар. А ведь у каждого из них также есть мать, оплакивающая своих сыновей, пусть она и не депутат Кнесета, как Фейга Иланит, — поди объясни все это!"

Нет сил у Бен-Гуриона перенести страдания еврейской матери. Для Моше Шарета мать всегда есть мать и равно, как перед еврейской, он готов склонить голову и перед арабской матерью...

Не прошло недели после возвращения Бен-Гуриона на пост министра обороны, как все израильские газеты, датированные 1-м марта, выходят с аршинными заголовками: **"37 ЕГИПЕТСКИХ СОЛДАТ УНИЧТОЖЕНО В БОЮ НА ГРАНИЦЕ С ГАЗОЙ"**.

Наутро выяснилось, что убитых было не 37, а 42. По сообщениям каирских газет, насчитывалось также несколько десятков раненых. В результате этой стычки Египет немедленно начинает стягивать войска к Газе. Шарет предостерегает Насера от опрометчивого шага. Тот заявляет, что первым не откроет огонь, но даст отпор, если израильтяне нападут на него. Командующий силами ООН генерал Бернс обращается с рапортом в Совет Безопасности, куда подали жалобы обе стороны. Вашингтон сообщает: "Из-за стычки в Газе США задержали правительственное заявление, которое было призвано "успокоить Израиль".

21 июня Насер делает признание, что он, дескать, надеялся найти *modus vivendi* в отношениях с Израилем, но стычка в Газе развеяла его иллюзии в пух и прах.

Именно поэтому, по словам Авиэзера Голана, автора уже упомянутой "Операции Сюзанна", "историки рассматривают "Гиблое дело" и его последствия как причину обострения

взаимоотношений между Израилем и Египтом... За казнями в Каире последовало крупное нападение ЦАХАЛа на военные лагеря в Газе, первые сделки по закупке оружия у стран советского лагеря, Синайская война". (*"Едиот ахронот"*, 21.3.1975).

В июле состоялись парламентские выборы, и хотя партия Мапай и потеряла пять мандатов (было 45 из 120, стало 40), но после трехмесячных переговоров Бен-Гурион все-таки сформировал очередное коалиционное правительство, в котором он занял, как это было и в прошлом, пост министра обороны. Моше Шарет остался министром иностранных дел, но только до июня 1956 года, после чего его сменила Голда Меир. На должность министра труда, которую занимала до тех пор Голда, был назначен Мордехай Намир, а генеральным секретарем Гистадрута, с одобрения Бен-Гуриона и всей партии Мапай, был избран Пинхас Лавон. Но об этом еще пойдет речь ниже.

Именно в те дни в государственном организме страны начали распространяться порожденные "Гиблым делом" метастазы, которые в конце концов привели к кризису 1960—1961 годов. Джибли и Бен-Цур в начале 55-го года были смещены со своих постов. Бен-Цур — еще до начала работы комиссии Ольшан-Дори, а Джибли — сразу же после возвращения в правительство Бен-Гуриона. Никакого наказания ни тот, ни другой не понесли. Бен-Цура послали на учебу, позже он перешел на гражданскую службу. Джибли (дабы сохранить его престиж) назначили командиром знаменитого полка "Голани".

"Что касается Джибли, — пишет Бен-Гурион в своей книге "Как все было", — то к нему я счел нужным отнестись с особой строгостью. Именно из-за сомнений, и решил перевести его на другую должность... Я поговорил об этом с Даяном... Такого же мнения придерживался и глава правительства (Шарет; М.Л.), и, когда я снова перешел в Министерство обороны, то перевел Джибли на другую работу".

Впоследствии Джибли занимал ряд ответственных постов за границей, но в чине так и не был повышен, о чем Бен-Гурион предупредил его еще в 55 году.

Пост же начальника военной разведки занял официальный заместитель Джибли, уже знакомый нам Иошафат Гаркави,

"Пати", который до этого проходил, как мы помним, курс за границей в Сорбонне*

Находясь в Париже, "Пати", в январе 55 года случайно встретился с Мордехаем Альмогом, приехавшим по секретному заданию Бен-Цура с письмом к Аври Эладу (об этой поездке уже было рассказано в предыдущих главах).

Гаркави был начальником Альмога, но в тот раз Альмог не только к нему не явился, но во время случайной этой встречи обронил, что его специально предупредили — не попадаться на глаза никому и в особенности ему, Гаркави. Однако так получилось, что Гаркави встретил в Париже не только Альмога, но и самого Аври Элада и даже дважды. Первый раз еще в июне 54 года, когда Бен-Цур вызвал Элада из Каира, чтобы передать задание действовать. (Кичась своей осведомленностью, Элад намекнул тогда Гаркави, что в ближайшие дни в Египте произойдут "дела".) Вторая встреча произошла после того, как Элад дал показания комиссии Ольшан — Дори. Его тогда сразу же отпустили обратно, и каким-то образом он оказался в начале февраля в Париже.

Возможно, Элад хотел перестраховаться, а может быть, ему показалось, что "Пати" в курсе дела, но во время этой второй встречи он намекнул своему начальнику на некоторые несообразности, связанные с "Гиблым делом" и удивившие, как мы помним, и его самого. И еще "Пати" встретил в Париже Далию Кармель, бывшую секретаршу и подругу Джибли. После его смещения с должности начальника разведки Далию срочно откомандировали за границу. Переживая, быть может, тяжелый душевный кризис, она также рассказала Гаркави кое-что из того, что творилось в штабе военной разведки.

На место Мордехая Бен-Цура был назначен Исар Гарель, получивший в дальнейшем кодовую кличку "Мужчина". Его также срочно отозвали из-за границы, где он учился. Впоследствии он сообщил, что при вступлении в должность

*Ныне Гаркави — один из самых выдающихся арабистов Иерусалимского университета и по совместительству советник главы правительства по делам борьбы с террором.

ему сказали (очевидно, сам Джибли), что для него же самого будет лучше, если он не станет копаться в прошлом, а сосредоточит свое внимание на будущем. Гарель принял этот совет к исполнению, но "прошлое" само дало о себе знать.

Как ни плохо относились к Лавону в военных кругах, однако все честные работники штаба разведки, знавшие о махинациях и подлогах, не могли остаться к этому равнодушными. Поэтому когда пришел новый начальник спецподразделения, они ввели его в курс дела. Да и сам Аври Элад счел нужным поделиться со своим новым шефом. Так что когда Гаркави вернулся из Парижа, Гарель тотчас же доложил ему обо всем.

Гаркави, многое узнавший еще в Париже, решил, что дело это оставить без последствий нельзя, и направился с докладом к начальнику генерального штаба Моше Даяну. Даян выслушал "Пати", приказал ему расследовать все дело и доложить о результатах.

Взаимоотношения Гаркави и Джибли никогда не были дружественными, и "Пати", человеку, известному своей порядочностью и столкнувшемуся с безобразиями, творившимися в разведке до него, было неприятно уже одно то, что ему придется собирать материалы против его предшественника.

Возможно, и еще одно обстоятельство насторожило "Пати". Каким-то образом стало известно о его беседе с Моше Даяном, когда начальник генерального штаба поручил ему расследовать дело. Никто при этой беседе не присутствовал, никто о ней не знал, однако появились "доброжелатели", начавшие уговаривать Гаркави отказаться от расследования. Чего доброго обвинят его в том, что он озабочен отнюдь не поиском истины, а просто хочет вырыть яму Джибли. Так или иначе, "Пати" явился снова к Даяну и попросил освободить его от расследования. Даян ответил, что теперь делу уже дан ход, так как он успел доложить о нем министру обороны, но если эта история "Пати" так неприятна, то он может обратиться непосредственно к Бен-Гуриону.

Гаркави так и сделал. Выслушав его мотивы, Бен-Гурион освободил его от обязанности заниматься расследованием.

Было ли об этом доложено и главе правительства Моше Шарету, по сей день неизвестно. Как неясно и то — поручил ли Даян или Бен-Гурион кому-то другому провести расследование. Известно только, что вопрос этот обсуждался в узком кругу, вероятно, в генеральном штабе. Начальник генерального штаба доложил тогда, что до Гаркави дошли сведения об определенных нарушениях в разведке и что министр обороны распорядился, чтобы сам "Пати" разобрался во всем.

Но когда состоялось это обсуждение? Может быть, уже после того, как Гаркави приступил к расследованию? И что произошло позже? И когда именно "Пати" освободили от этой обязанности? И наконец кто именно позаботился о том, чтобы и на этот раз похоронить уже было всплывшие на поверхность факты? Похоже, что мы опять вступаем в область, которую выше охарактеризовали, как "белые пятна аферы"...

В связи с этим сошлюсь еще на одну небольшую выдержку из "исповеди" "Третьего человека" (А. Элада). Правда, Исар Гарель, бывший начальник "Мосада" и заместитель "Пати", добившийся в 57 году ареста Элада а затем и его осуждения, предупреждал о том, что в его лице мы имеем дело "не только с опасным преступником, но и с патологическим лгуном", однако в данном случае помимо Исара Гареля ни один из тех, на кого Элад ссылается в своих воспоминаниях, не счел нужным опровергнуть его утверждения.

"В то время (в феврале 1955 года; М.Л.) я находился уже в Европе и по простоте душевной полагаю, что заговор, угрожавший ЦАХАЛу, уже был за занавесом. Я вернулся в Европу, чтобы укрепить положение своей кампании в Мюнхене, и, оказавшись по делам в Париже, встретил своего друга, подполковника Узи Наркиса (нынешнего начальника отдела алии Сохнута; М.Л.). Узи потряс меня известием, что Джибли, как до него и Мотке, также пал жертвой заговора. Его уже сместили с должности, и должность начальника военной разведки займет теперь полковник Иошафат Гаркави ("Пати")."

Я отправился к "Пати", бывшему заместителю Джибли. "Пати" слушал в тот год курс лекций в Сорбонне. Он совершенно ошеломил меня, когда восстановил при мне все нити заговора до мельчайших деталей. Единственно, чего он не знал — какова была цель заговора.

Я тут же сел и написал письмо Джибли на двух страницах. "Догадливость "Пати" ничуть не удивила его. И еще меньше — тот пыл, с которым "Пати" взялся разобраться в подробностях заговора. Он заявил мне, что "Пати" ни о чем так не мечтает, как о том, чтобы занять пост начальника военной разведки. Еще до этого я слышал от Мотке о натянутых отношениях между этими двумя офицерами; именно из-за них "Пати" пришлось уйти с поста заместителя Джибли и отправиться за границу на учебу".

Так что Гаркави явно было чем заняться, и сам он рвался, что называется, в бой. И кто знает, возможно, сегодня "афера", будучи до конца раскрытой, отошла бы в область преданий, если бы тогда, в 1955 году, новый начальник военной разведки смог провести расследование.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ОБМЕН

Тем временем Ближний Восток, являвшийся до сих пор лишь яблоком раздора между Англией и Францией, с одной стороны, и США — с другой, привлекает пристальное внимание также Советского Союза. Осенью 1955 года Насер заключает свою первую сделку с Чехословакией, и Египет начинает в широких масштабах получать оружие из Восточной Европы. Именно в результате этих поставок и конечно же обострения израильско-египетских отношений резко участились пограничные стычки на Синайском полуострове.

В то же время Соединенные Штаты, заискивавшие перед арабскими странами, упорно отказываются поставлять Израилю жизненно важное для него оружие. И вот тут приносит первые свои плоды "израильско-французская дружба", о которой так восторженно отозвался Даян после своего злополучного визита в США в июле 1954 года и к которой он так стремился вместе с Шимоном Пересом. Франция становится основным поставщиком оружия Израилю. Шарет упорно сопротивляется этой линии, которая на его взгляд неизбежно должна была привести к вооруженному конфликту. Он готов даже был поверить мирным заверениям Москвы, заключившей в те дни договор с Израилем о поставке нефти. На этой почве у него возникают трения с Бен-Гурионом, и в

июне 56 года он передает портфель министра иностранных дел Голде Меир, которая в то время и уже до конца своей карьеры была убежденной сторонницей линии Бен-Гуриона. Между тем отношение самого Бен-Гуриона к оставшемуся без дела Пинхасу Лавону было все это время весьма предупредительным и даже дружеским. Когда он задумал в начале 1956 года создать специальный комитет на случай вспышки войны, нечто вроде "Высшего военного совета", он пригласил к себе Лавона и поручил ему возглавить подготовительную комиссию. В ее состав кроме Лавона вошли еще несколько лидеров партии Мапай. Комиссии было поручено разработать и представить конкретные предложения. После того как эти предложения были внесены на рассмотрение остальных лидеров партии, Бен-Гурион сам же их и не поддержал, стал вносить изменения. Тогда Лавон отказался возглавить этот высший орган. Бен-Гурион пытался уговорить его, написал ему письмо, полное комплиментов, которое впоследствии широко склонялось перед комиссией Кнесета по иностранным делам и обороне и в газетах.

"Ты среди нас — один из немногих, — писал Бен-Гурион, — обладающих смелым и самостоятельным мышлением, а также способностью трезво оценивать действительность... Вот почему я именно тебе поручил разработку путей, которые следует избрать в случае войны... Само собой разумеется, что ты уже сейчас должен быть в курсе всех дел, помочь инициативой, советом и критическими замечаниями".

Ничего из всего этого не получилось; по крайней мере в том, что касается Лавона. В партии даже ходили слухи, что и тут приложили руку Даян и Перес, которые отнюдь не были в восторге от предложения Бен-Гуриона. В июне 1956 года для Лавона находится наконец подходящая должность в связи с уходом Мордехая Намира на пост министра труда, и Лавон, с одобрения Бен-Гуриона, как мы уже писали выше, избирается генеральным секретарем Гистадрута.

В течение всего этого времени до Лавона доходили, конечно, отрывочные слухи о том, что происходило в штабе армии, но дополнительных доказательств сговора у него не было, так что до поры до времени ему приходилось молчать.

Наступил октябрь 1956 года, который ознаменовался блестящей военной победой Израиля в Синайской кампании. Однако победа эта ничего не решила, а лишь окончательно толкнула Египет, и вслед за ним и другие арабские страны, в советские объятия. Конечно, если бы США встали тогда на сторону Англии, Франции и Израиля, история приняла бы, может быть, другой оборот. Но слишком глубоки были интересы США в арабском мире, и было просто немислимо, чтобы Америка поступилась этими интересами, как немислимо это, увы, и сегодня.

Не решила Синайская война и судьбу участников "Гиблого дела", томившихся в египетской тюрьме. В руках Израйля оказалось свыше пяти тысяч египетских военнопленных, в том числе и губернатор Газы, председательствовавший когда-то на суде в Каире, а в руках Египта был один-единственный сбитый израильский летчик, лейтенант Ионатан Эткас. Однако никто почему-то не попытался осуществить обмен военнопленных на каирских узников. И тут уж никак нельзя свалить вину на "Третьего человека" и даже на Бенямина Джибли. Впрочем, недавно стало известно, что тот самый Авраам Дар, который создал в Египте провалившуюся впоследствии агентурную сеть, выполнял в дни Синайской кампании вместе с Левоу Элиавом особое задание. Они переоделись во французские мундиры и с небольшим французским отрядом проникли в Порт-Саид.

Дар надеялся, что ему удастся добраться с этим отрядом до Каира и, воспользовавшись царившим там хаосом, освободить египетских узников из тюрьмы. Увы, из этого ничего не вышло. Зато Дар и Элиав вступили в контакт с еврейской общиной Порт-Саида и эвакуировали оттуда в Израиль почти всех портсаидских евреев.

Вернувшись после демобилизации домой, Авраам Дар неотступно следил за газетами, ловил малейший слух в надежде, что каирских узников обменяют на военнопленных. Он обивал пороги многочисленных ведомств, требовал хоть что-то для этого предпринять. "Люди шарахались от меня, —

признался он впоследствии, — словно я чумной. Я служил им живым напоминанием о деле, о котором все старались забыть" ("Операция Сюзанна", стр. 239).

Между тем сегодня имеются точные сведения о том, что Насер не только был готов вернуть узников, но буквально приказал: "Отдайте им все, что они потребуют, лишь бы скорее вернуть военнопленных" (там же, стр. 238).

Об этом рассказал в 60-х годах не кто иной, как Мустафа Амин, который вместе со своим братом Али издавал тогда влиятельнейшую египетскую газету "Ахбар-аль-юм". Именно им после Синайской кампании Насер поручил организовать обмен военнопленных. Впоследствии братья попали в немилость. Али сбежал в Англию, а Мустафа угодил в тюрьму, где и рассказал обо всем Виктору Леви, Роберту Дасса и Филиппу Натансону.

Пытаясь объяснить, почему в 1957 году каирских узников не обменяли на военнопленных, один ответственный работник Министерства иностранных дел Израйля, участвовавший тогда в переговорах с египтянами сказал: "Такой обмен был бы равносильным признанию в том, что они действовали по заданию израильской разведки, а это обострило бы американо-израильские отношения". Как будто бы США без того не знали действительного положения вещей!

Сам Авиэзер Голан, автор "Операции Сюзанна", выдвигает другую версию:

"Хотя это звучит странно и неправдоподобно, — пишет он, — но похоже, что тут действительно имела место роковая халатность. Большинство замешанных в "афере" 1954 года, были к тому времени уже смещены со своих должностей. Некоторые перешли на гражданскую службу, некоторых перевели на другие посты. Бенямин Джибли — начальник военной разведки в дни "Гиблого дела" — командовал во время Синайской кампании подразделением, мужественно сражавшимся в пустыне; Мотке Бен-Цур, бывший начальник спецподразделения № 131, был уже на гражданке, а уцелевшие после той грозы настолько "обожгли себе пальцы", что им хотелось только одного: чтобы их предали забвению и чтобы они сами забыли о том, что когда-то были замешаны в этой "афере".

Те же, кто вел переговоры об обмене военнопленных, были люди новые. С "Гиблым делом" они не имели ничего общего и даже не знали, что где-то когда-то был издан приказ, согласно которому

каирские узники — это те же бойцы, а значит, военнопленные. Никто им об этом не сказал. Шестерых узников просто забыли”.

(“Операция Сюзанна”, стр. 239)

Вряд ли А. Голан прав. Иошафат Гаркави, новый начальник военной разведки, очень хорошо знал все. Знал и Исар Гарель, новый шеф спецподразделения № 131, а главное, обо всем прекрасно был осведомлен начальник генерального штаба Моше Даян, и тем не менее ничего сделано не было...

ПОКАЗАНИЯ "ТРЕТЬЕГО ЧЕЛОВЕКА"

То, о чем будет рассказано в этой главе, взято целиком из воспоминаний Аври Элада, он же Авраам Зайденберг, он же Пауль Франк, он же "Третий человек", который возглавил июльскую операцию в Египте, затем сфальсифицировал документы и дал ложные показания.

Осенью 1957 года Аври Элад был отозван из-за границы и арестован по обвинению в связи с врагом. Следствие продолжалось три года, после чего Элада осудили на 12 лет. (Верховный суд снизил этот срок до десяти лет.)

Сейчас Элад живет в Лос-Анджелесе. Несколько месяцев тому назад вышла его книга на английском языке "Третий человек", которая уже переведена на иврит. В августе 1976 года газета "Гаарец" почти полностью перепечатала ее.

В Европе Элад действовал как агент военной разведки, а не "Мосада", во главе которого стоял до 1963 года Исар Гарель. В то время эти две службы постоянно соперничали между собой, и Элад для того, собственно, и написал свою книгу, чтобы доказать, что он пал жертвой козней "Мосада", и свести счеты с ее бывшим шефом Исаром Гарелем.

В свою очередь Гарель выступил по телевидению, а также дал большое интервью газете "Гаарец", обвинив Элада в самых тяжких злодеяниях и утверждая, что именно он выдал каирских подпольщиков египетским властям. Где же правда? Разведывательная работа, без которой в наше время, как говорят, нельзя обойтись, по самой своей природе сугубо секретна. Чтобы быть эффективной, иной она не может быть.

Многие уверены, что это секретное и особо ответственное дело поручается наиболее храбрым и честным людям. В действительности, увы, это не всегда так. Похоже, что в "Гиблом деле" мы действительно имеем дело с "иерархией лжи", как метко выразился публицист Алуф Гарэвен, а не с "иерархией героизма". Все это мы ни на минуту не должны забывать, читая книгу Аври Элада и приведенную ниже выдержку.

"В марте (1955) компания "ИНЖ. ПАУЛЬ ФРАНК, ИМПОРТ-ЭКСПОРТ" повсюду разворачивает свою деятельность. Я единолично владел этой фирмой, контора которой была расположена в солидном районе Мюнхена. Хуго Круг служил мне верой и правдой. Он прошел спецпроверку и знал, для чего создана эта фирма. Я открыл счет в одном из частных и самых безукоризненных германских банков... Так в деловой суете прошла весна, прошло и лето. В обществе Хуго Круга я объехал Европу вдоль и поперек. Однажды я полетел во Франкфурт, где у меня была назначена встреча с представителем одной голландской корпорации, я пытался получить у нее для фирмы заем в пять миллионов марок. Сходя с трапа самолета, я столкнулся с одним старым знакомым еще по Египту. Встреча эта отнюдь не привела меня в восторг. Последний раз я виделся с Герхардом Мартенсом — одним из создателей египетских ВВС, коммерсантом, торговавшим оружием, и своим человеком в египетской военной верхушке — несколько месяцев назад. Я провел тогда с ним и с несколькими офицерами египетских ВВС, приехавших в Германию за парашютами, вечер в ресторане. Увидев меня. Мартенс воскликнул:

— Ба, кого я вижу! Чемпиона шпионов! Что нового в шпионском деле в эти дни?

— Я думал, Герхард, ты не из тех, кто верит каждой сплетне.

Он посерьезнел:

— Я-то нет, а вот некоторые из моих товарищей безусловно верят, Кстати, один близкий мой друг назначен на днях главой египетской военной разведки. Он интересуется тобой, и мне пришлось обещать, что повидаясь с тобой. Повезло-то как!

Новая попытка египтян завербовать меня свидетельствовала о том, что они по-прежнему считают меня наемным ландскнехтом. Да и Мартенс шутил со мной, как шутят между собой именно такие платные агенты. Он рассеял все мои сомнения. Впоследствии он рассказал своему другу, что сейчас я работаю не на евреев, а, пожалуй, на какую-нибудь европейскую разведку.

Чтобы не портить отношений с "Мосадом" (ведь они неотступно следили за каждым моим шагом), я сообщил об этой встрече и о своем намерении принять предложение Мартенса, Ганди, резиденту "Мосада" в Кельне.

Ганди был восхищен открывшимися перед нами возможностями и вручил мне миниатюрный магнитофон для предстоящей встречи с Мартенсом. Он снял с моих плеч тяжелый груз, заявив, что я буду сам себе хозяин. Я боялся, как бы он не навязал мне какой-нибудь план действия, разработанный им самим или кем-нибудь из его начальства.

Для большей верности решил взять с собой в Ганновер, где жил Мартенс, своего помощника еще по Египту Боба Янсена. Слишком много произошло за последние месяцы, чтобы можно было позволить себе положиться на каждого. Я чувствовал, что мне необходимо иметь свидетеля на случай, если "Мосад" придерется к моим действиям.

Боб был в данном случае наиболее подходящим человеком: он знал Мартенса еще по Египту. На всякий случай я повесил под мышку еще и свой "Люгер" — вдруг это засада! Мне все еще не верилось, что египтянам неизвестно, кто я такой.

Запрятанный в портфеле магнитофон записал мою беседу с Мартенсом, который все время прощупывал меня — не желаю ли я работать на египтян. Поскольку для платных агентов всего важнее деньги, то я и свел беседу именно к деньгам.

— Кстати, — спросил я, — с полковником Нури вам встречаться не приходилось? — Осман Нури был начальником египетской военной разведки в те дни, когда я сбежал из Египта.

— Он теперь военный атташе в Бонне, — ответил Мартенс.

Вернувшись с Бобом к Ганди в Кельн, я прослушал ленту и очень огорчился, обнаружив, что в некоторых местах слышимость была очень плохой. Я знал, однако, что "Мосад" без труда расшифрует и эти места. Через неделю после того, как я вручил ленту Ганди, я спросил у него — интересной ли была беседа. Он ответил, что на ленте ничего не было записано — по-видимому, по ошибке запись стерлась. Я был ошеломлен. Ведь я же лично прослушал ленту! Впоследствии Польди (связной Элада; М.Л.) говорил о вещах, о которых ему неоткуда было знать, кроме как из этой ленты. Я немедленно доложил обо всем в штаб. Яков Янив, один из заместителей Иоси Гареля по спецподразделению № 131, тут же прислал ответ: "Я же ведь предупредил тебя держаться от них (от "Мосада") подальше..." ...Вдруг без всякого предупреждения пришло письмо от Иоси Гареля: немедленно ликвидируй фирму и возвращайся. Оснований не указывалось никаких, но я знал, что все это — дело рук "Мосада". Я потребовал объяснения, просил сообщить причины, и Иоси признался наконец, что "Мосад" заявил, будто я представляю собой, как он выразился, "военный риск". Мне ничего не оставалось, как выполнить приказ. Хотя об этом и не было сказано прямо, но они явно опасались, как бы меня ни похитили египтяне. Я знал очень много, и, если бы египтянам удалось выжать из меня всю эту информацию, нашей дея-

тельности за границей был бы причинен огромный вред. Мне даже в голову не приходило, что тут замешан наш собственный заговор. Ликвидацию фирмы пришлось задержать, кроме того, я попросил разрешения вернуться домой под именем Пауля Франка.

Я воспользовался своим пребыванием в Израиле для того, чтобы добиться согласия не прекращать деятельность фирмы. Для этого я встретился с начальником военной разведки Гаркави, с его заместителем Ювалом Нееманом*, с Мордехаем Альмогом, Иоси Гарелем и другими. В беседах с ними я всячески подчеркивал наши финансовые успехи, огромную важность наших связей с германской промышленностью, богатейшие возможности, открывшиеся в связи со всем этим для нашей военной разведки. К тому же, фирма еще и в финансовом отношении полностью себя окупала. Начальник военной разведки решил: "Ты возвращаешься в Германию и продолжишь свою деятельность". Когда Иоси попытался возразить, "Пати" резко оборвал его: "С Исаром я улажу все сам. Аври возвращается в Германию".

Я вылетел в Германию. В пути я вскрыл конверт, врученный мне в штабе. Там была короткая записка, гласившая: "Для твоей и нашей общей пользы воздержись от каких бы то ни было контактов с "Мосадом".

Боже мой! Сколько раз меня предупреждали за последние три года остерегаться работников "Мосада"! А как же мне не вступать с ними в контакты, если все каналы связи были в их руках? Военная разведка еще не располагала тогда собственными средствами. Все же я снова поклялся в душе воздержаться от каких бы то ни было связей с сотрудниками "Мосада".

Стоял ноябрь. Мы приступили с Хуго к переоформлению названия фирмы, с тем чтобы привлечь его самого в качестве компаньона. Это тотчас же принесло плоды: благодаря ему мы заключили первую сделку со страной восточного лагеря. Затем последовало много других таких сделок. Фирма процветала сверх всяких ожиданий.

В один прекрасный день мне позвонил полковник Осман Нури, бывший заместитель начальника египетской военной разведки, человек, прекрасно осведомленный о роли Пауля Франка в июльских операциях 1954 года. Позвонил он мне, конечно, не для того, чтобы обменяться любезностями.

— Герр Франк, — начал он, — мне нужно передать вам привет от нашего старого общего знакомого. Майор Мартенс рассказал мне о его беседе с вами. У меня есть деловое предложение, которое может быть, покажется вам интересным. Я предпочел бы поговорить обо всем этом здесь в Бонне, скажем, дней через восемь или десять.

*Впоследствии ученый с мировым именем в области физики элементарных частиц и президент Тель-Авивского университета.

— Мне все равно надо быть на севере недели через две, — солгал я. — Непременно зайду к вам, когда поеду.

— Только известите меня, пожалуйста, днем раньше, и тогда мы встретимся в самом посольстве.

Я несколько не сомневался, что Осман хотел завербовать меня. А как же штаб? Пришлось снова обратиться к Ганди и попросить у него магнитофон. Ганди сказал, что магнитофон я смогу получить только через два дня. Прошло десять дней, а магнитофона все еще не было. Миновала еще неделя, а магнитофона так и нет. Я давно уже привык к тому, что "Мосад" ставит мне палки в колеса, поэтому решил обойтись без Ганди и встретился с Нури в Бонне, в кафе неподалеку от вокзала.

— Герр Франк, — сказал Осман Нури, — мне хочется повторить вам свое предложение поступить к нам на службу. Ваши связи очень важны для нас... — Он имел в виду мою деятельность в Европе, и, слушая его, я убедился, что его как следует проинструктировали во всем, что так или иначе касалось Пауля Франка.

Я пространно говорил о том, насколько моя новая работа выгодна, особенно израильские закупки.

— Деньги-то не пахнут и у евреев, — сказал я, — а я у них зарабатываю горы целые.

Нури хорошо понимал язык ландскнехтов.

— Вы деловой человек, герр Франк, мы это очень хорошо понимаем. Что касается денег, то у нас вы будете зарабатывать несколько не меньше, чем у евреев.

Мы расстались, договорившись о том, что я с ним еще свяжусь. Однако я так и не успел сообщить в штаб о предложении Нури: меня срочно вызвали в Вену, так как Шуле (жене; М.Л.) нужно было срочно лечь на операцию.

Три недели спустя фирма была переоформлена на имя Хуго. Шуля уже уехала с сынишкой в Израиль. В конце января 1956 года полетел домой и я, окончательно порвав всякие связи с фирмой и готовый получить новое назначение.

В первые дни я писал обстоятельный отчет о своей работе за последние три года на квартире, специально снятой для меня подразделением. Тем временем было принято решение, что я останусь в стране. Что же касается того, чтобы я стал двойным агентом, то в мое отсутствие "Мосад" приклеил мне ярлык "военного риска". Таким образом, меня лишили возможности попытать счастья. Кроме того, мне было сказано, что Даян (начальник генштаба) хочет уволить меня из военной разведки.

В апреле я получил сообщение, что отец мой тяжело заболел и его нужно положить в больницу. "Пати" отказал мне в разрешении выехать в Вену, сказав, что все это ложь: никто, мол, не заболел. Однако тут же навели справку и убедились, что отец действительно

лежал в больнице. Тогда мне разрешили слетать в Вену, и я начал готовиться в дорогу. "Пати" потребовал от меня письменного обязательства, что я не поеду в Германию. Свой портфель, содержащий материалы, которые во что бы то ни стало должны были остаться у меня, я оставил у Шломо Милета. Там были мои личные бумаги, негативы, которые мне вернула Этна, сотрудница архива спецподразделения, когда было принято решение, что я никуда не еду, а остаюсь в стране. Был в портфеле и очень важный материал, связанный со сговором против Лавона: мой дневник, который я потом подделал, листок с исправлениями, сделанными собственноручно Беньямином Джибли, — их нужно было внести задним числом в мои рапорты и дневник (этот листок я тогда незаметно стащил в целях перестраховки) и другие доказательства того, что все это действительно имело место...

...В марте 1957 года я получил в Вене письмо из штаба: мне вернули чин майора. Однако победа была далеко не полной: в военную разведку меня все-таки отказались вернуть. Мне предлагали должность в танковых частях. Я это предложение отверг.

— Что же ты предлагаешь? — спросил Иосеф Ярив из спецподразделения № 131.

— Я предлагаю, чтобы меня уволили в запас и разрешили заниматься делами здесь, в Европе.

— Ходят слухи, будто ты вообще не собираешься больше вернуться, — сказал Иосеф Ярив, с которым я встретился в Вене. — Еще говорят, будто у тебя есть на это веские причины, ты что-то скрываешь, что-то такое, что связано с твоей деятельностью тогда в Египте.

Я рассвирепел. Потом сел и объяснил ему, что как только похороню отца, тут же вернусь домой.

— Можешь в этом не сомневаться, — сказал я ему, — и можешь не сомневаться еще вот в чем. Когда я вернусь домой, я постараюсь навести полный порядок во всем, что было в прошлом. Есть некоторые вещи, которым впору стать достоянием гласности. Вот я все и расскажу.

Однажды, сидя в конторе "Эл-Ал" (где меня устроили на работу на время моего пребывания в Вене), я как-то набрал номер и по ошибке подключился к чужому разговору, который, как оказалось, вели между собой два врача.

— Ты никогда не угадаешь, — сказала женщина-врач своему собеседнику, — кто мне позвонил сегодня. Помнишь того египетского генерала с этой странной болезнью? На этот раз он остановился в гостинице "Гицингер парк".

Этот генерал был главным резидентом египетской военной разведки в Вене. "Мосад" тщетно пытался установить его адрес. Я тут же позвонил Ханану и сообщил ему обо всем. Это было чистейшее везение — правда, не мое, а Ханана. И это была последняя услуга, которую я оказал военной разведке и "Мосаду".

Тем временем я получил два предостережения: Мотке мне написал длинное письмо, и в нем сообщалось о том, что президент испанского олимпийского комитета получил приглашение в Москву, но отказался от него. Когда друзья его спросили о причинах отказа, он ответил: "билет-то был только в одну сторону..." Наша с Шулей подруга, служившая одно время секретаршей в "Мосаде", тоже сказала мне: "Много кораблей отплывает в Израиль. Тебе вовсе незачем быть на первом".

Предчувствие беды подсказывало не возвращаться в Израиль. Однако мой гнев был слишком силен. Теперь я знал о заговоре уже гораздо больше. Но я продолжал копаться все глубже и глубже. Когда раскопаю все, тогда можно будет разоблачить картину перед всеми.

Спустя три недели после кончины отца, в октябре 1957, я вернулся домой. (Подчеркиваю этот факт, чтобы опровергнуть версию, пущенную в ход в свое время, будто бы меня "вернули" хитростью или силой, чуть ли не в сундуке.)

Прошло некоторое время, и 15 декабря получаю от Иоси Гареля, возглавлявшего в то время спецподразделение № 131, телеграмму следующего содержания: "Срочно приезжай в Тель-Авив. Кафе "Батья". В 10.00 утра".

Иоси повел меня в генеральный штаб, в кабинет Якова Хейфеца, начальника отдела полевой безопасности. Хейфец сразу приступил к делу.

— Сделал ли ты когда-нибудь и что-нибудь такое, что нанесло вред интересам государства, Аври?

Я ответил отрицательно.

— Может быть, по ошибке, ненарочно? — продолжал нажимать Хейфец. — Попытайся вспомнить.

— Мне нечего вспоминать.

Хейфец тяжело вздохнул.

— В таком случае мне ничего другого не остается, как передать тебя нашему следователю.

Следователем по особым делам в Шин-Бете работал Арони.

А я говорю, что ты вел себя как предатель, — патетически воскликнул он. Он же постановил, чтобы меня подвергли проверке детектором лжи. Все же под конвоем мне разрешили съездить в Хайфу. Мне нужно было зайти к себе в квартиру и устроить так, чтобы документы, связанные с заговором, попали в верные руки. Пока сопровождающий сидел в передней, я сложил все в небольшой синий чемоданчик, затем заскочил на минутку к Гадасе Наглер, красавице дочери богатого промышленника, с которой я был в дружеских отношениях, и сказал ей: "Позвони Питеру Ландсману, чтобы он пришел, забрал синий чемоданчик и сохранил его для меня. Потом позвони полковнику Джибли и скажи ему, что я в лапах маленького Исара, пускай действует".

По словам следователей, проверка детектором показала, что я рассказал не всю правду.

— Ты что-то скрываешь...

Еще бы! Некоторые из поставленных мне вопросов угрожающе близко коснулись египетских операций и заговора против Лавона.

— А я тебе говорю, — упорствовал Арони, — то, что ты скрываешь, касается твоих контактов с полковником Османом Нури.

Господи Боже мой! Осман Нури! Я даже забыл о беседах с ним и о его попытках завербовать меня.

Следствие (я сидел все время в одиночке) затянулось до 1958 года. Я все время говорил своему следователю:

— Мне нужен приказ, который бы освободил меня от обязанности молчать.

И вот наступил день, когда такой приказ мне был предъявлен. В собственноручно написанной записке "Пати" разрешил мне рассказать обо всем, что мне известно.

— Еще бы "Пати" не разрешил! — сказал я своему следователю. — Вам придется получить разрешение от Моше Шарета. Именно он был тогда главой правительства. У "Пати" нет никакого права давать такое разрешение.

Затем меня стали открыто обвинять в том, что расследованием, проведенным самим Арони в Европе, установлено, что я был двойным агентом и несу ответственность за провал агентурной сети в 1954 году. Затем в наручниках меня перевели в тюрьму в Рамле.

Когда следствие возобновилось, я заявил:

— У меня имеются документы, написанные рукой самого Джибли. Эти документы подтверждают, что все, изложенное мной, — правда.

Но когда я сказал, что эти документы лежат в синем чемоданчике, который я велел передать Питеру Ландсману, мне сообщили, что Питер все сжег, кроме нескольких огнестойких негативов. Мне показали три пленки. Я поднял их на свет и тотчас увидел, что это пленки не мои.

— Эти пленки я вижу впервые.

— Как же они попали в твой чемодан?

— Они никогда и не были в моем чемодане. Кстати, что это вообще за пленки?

— На них документы из "фиолетового дела".

У меня по коже пробежал мороз. "Фиолетовое дело" было самым секретным в 131 подразделении, даже во всей военной разведке. Следствие утверждало, что я сфотографировал документы из "фиолетового дела". Сколько я ни доказывал, что я не располагал даже необходимой аппаратурой, да и доступа к этому делу у меня никогда не было, все было тщетно.

— Мы не знаем, как это тебе удалось, но факт, что удалось.

Меня обвинили в том, что я собирался передать эти пленки Осману Нури. Мотив — деньги.

В октябре 1958 года, спустя десять месяцев после моего ареста, состоялось первое слушание моего дела иерусалимским областным судом. В своей вступительной речи, прокурор Эзра Хадия предъявил мне с полдюжины обвинений: от фотографирования секретных документов и до сношений с врагом, — все с целью нанести вред обороне Израиля. Мотив — корысть. Прокурор потребовал суд за закрытой дверью, так как дело, мол, в высшей степени важное и в нем фигурирует один из самых больших секретов государства. Просьба прокурора была удовлетворена.

Затем по непонятным причинам наступил перерыв в полгода. 29 июля 1959 года, спустя полтора года после моего ареста, слушание возобновилось. Обвинительное заключение содержало следующие пункты: незаконный сбор и фотографирование секретной информации, хранение секретной информации, незаконные контакты с агентами врага с целью нанести вред обороне государства. Список свидетелей обвинения был весьма внушителен, но в нем не фигурировали такие свидетели, как Джибли. Было ясно, что прокуратура полна решимости отделить мой арест от операций в Египте, тех самых, которые привели кговору против Лавона.

Судил меня доктор Беньямин Галеви, председатель Иерусалимского областного суда при заседателях М. Голан и И. Коген. Моим защитником был адвокат Тусия-Коген.

Обвинение представило меня как слабого и незаслуживающего доверия человека, корыстолюбие которого не знало границ. Главным свидетелем обвинения выступил Исар Гарель, начальник службы безопасности. Вообще-то Исар Гарель выступал открыто лишь в самых редких случаях. Он утверждал, что я стал "неблагонадежным" лишь после того, как его люди выяснили, что я установил контакты с Османом Нури. Он заявил, что я полностью демаскировался, и мне было приказано вернуться домой, так как своей неосторожностью я подвергал опасности его агентов в Европе. Он отрицал, что знал о моей деятельности в Египте, что я выступал перед комиссией Ольшан-Дори и что именно я возглавил операции в Александрии и Каире. Он энергично отверг также малейший намек на то, что суд надо мной — инсценировка.

— Шин-Бет, — заявил он, — еще ни разу не привлекал к суду человека, в вине которого он не был убежден полностью.

В августе 1960 года меня повезли в Иерусалим. Я слышал, как судья Галеви признал меня виновным. Затем я ждал в тюрьме в Рамле определения меры наказания. Приговор был зачитан 20 ноября 1960 года. Спустя три года после моего ареста, судья Галеви сказал:

— Суд признает вас виновным. Принимая во внимание просьбу вашего защитника учесть ваше прошлое, мы приговариваем вас к 12 годам лишения свободы со дня ареста (Верховный суд снизил по кассации срок до 10 лет) ”.

(Аври Элад: "Третий человек", приложение к газете "Га-арец" от 27 августа 1976)

Окончание в следующем номере.

"Я, как писатель, поступил не совсем честно, я предал и себя, и тебя, дорогой читатель. Я извлек из глубины нашей души некоторые тайные мысли и сделал их достоянием печати. Но чтобы чем-то себя реабилитировать, как-то оправдать свой поступок, я решил пойти на обман, и эту настоящую правду я назвал выдуманной..."

Из авторского предисловия к сборнику рассказов Григория ЦЕПЛИОВИЧА "Выдуманная правда", 128 стр.

Сборник рассказов ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ В МАГАЗИНЫ РУССКОЙ КНИГИ.

Цена в Израиле — 18 лир, за границей — 2 доллара. При заказе непосредственно в издательстве — 16 лир.

Заказы принимаются по адресу: улица Нахмани, 62. Тель-Авив. Издательство "Время и мы".

(К заказу должен быть приложен чек, и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.)



Иегошуа БАР-ЙОСЕФ

ИСТИНА

В БЕЛЛЕТРИСТИКЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ

С точки зрения израильского писателя.

Несколько лет тому назад я прочел русский рассказ в английском переводе. Автора я забыл, но название помню: "Ухабы на дорогах". Это был вполне выдержанный советский рассказ: группа горожан едет с неким партийным заданием на село; подчеркивалась благодетельная роль партийного начальства и польза исполнительности со стороны подчиненных. В пути происходит авария, кто-то сломал ногу, и остальные самоотверженно тащат его на носилках до ближайшего медпункта. И вот тут-то начинается нечто странное: в непролазной грязи, не в силах достать ни лошадь, ни повозку герои бредут от селения к селению и только в пятом из них находят не медпункт, не врача и даже не медицинскую сестру, а неопытную сельскую фельдшерицу.

Я недоумевал: эта удручающая картина опровергала красочные брошюры о бесплатной и повсеместной медицинской помощи для любого колхозника.

Однако автор совсем не имел цели "очернить советскую действительность"... Просто в верноподданнический рассказ

попало несколько живых подробностей того быта, с каким писатель сталкивался повседневно. И эти-то мелочи лишали официальную пропаганду всякой силы и смысла. Простенький рассказ насмеялся и торжествовал над агитпропом.

Отсюда ясно, что даже при тоталитарном режиме никак нельзя положиться на благонадежность даже самого послушного писателя: он никогда не сумеет выдумать в себе, и ничтожные подробности живой жизни вдруг разрушат всю превосходную картину, созданную официальной статистикой и газетной публицистикой.

Таково отличие публицистики от беллетристики. Это отличие сохраняется и в условиях демократической свободы слова, хотя и принимает несколько иной характер.

Публицистика заостряет и огрубляет явления и процессы жизни; она имеет дело с цифрами, с точными фактами, и на них основывает свои выводы. Художественная литература вбирает впечатления жизни, житейский опыт писателя, его суждения и размышления — а выводы она оставляет делать читателю. Публицистика тяготеет к сенсации, к из ряда вон выходящему факту. Художественная литература — по крайней мере, до новейших модернистских течений — интересуется обыкновенным человеческим характером, повседневными, а не чрезвычайными обстоятельствами жизни в обществе.

В тоталитарных странах люди отлично понимают, что нельзя положиться на официальную печать и другие средства массовой информации. В художественном тексте они ищут то, что публицистика скрывает от них по приказу режима. Тысячи людей стекаются слушать читающего свои стихи

Евгения Евтушенко, надеясь в какой-то строке или в отдельном слове уловить намек на запретную правду. Жаждой правды обусловлена та особая любовь к художественной литературе, которую испытывают люди, живущие в тоталитарных странах.

Впрочем, в девятнадцатом столетии высокий престиж литературы в мире объяснялся той же причиной: люди жаждали знать правду о своем времени и о самих себе. В писателях видели тогда пророков, учителей жизни; из книг черпали знания о мире и обществе; литературный герой вызывал чувства столь же горячие, как и живой человек.

Но вот настал век публицистики. Она оттеснила художественную литературу и сама заявила претензии на положение пророка в обществе.

Фоторепортажи, опросы общественного мнения, популярные статьи, основанные на достижениях общественных и точных наук, — все это составляет современную публицистику. В свете ее кажущейся объективности правда художественных произведений утратила для нас свое очарование. В начале эры фото- и кинодокумента никому не приходило в

голову, что нет лжи более коварной, чем та, что заключена в статистических выкладках и засвидетельствована фотокамерой. С приходом радио и телевидения обыватель освободили даже от того небольшого усилия, которое нужно, чтобы прочесть газету или популярную книжку. Все впечатления доставляются прямо на дом в компактном, удобном для усвоения виде.

Ныне литература оттеснена в дальний угол, где копошатся лишь завзятые любители и профессиональные литературоведы. Все аналитические теории современного литературоведения возникли как раз тогда, когда литература перестала быть живой частью духовной жизни человеческого общества.

Проблемы взаимоотношений между людьми общество отдало на откуп психологии, социологии и идеологам политических партий; внутренняя жизнь самого человека досталась психоанализу и научному исследованию поведения человека. Остальное, составлявшее цвет и запах искусства, было отведено на мелочное растаскивание эстетическому формализму и новейшему структуральному исследованию. Литература как бы лишилась души.

Обладает ли современный человек, питающийся в основном публицистикой, более достоверной картиной мира, чем его предшественник, доверявший художественной литературе? Трудно ответить на этот вопрос однозначно. Но что для меня решительно несомненно, так это то, что сама литература от этого сильно проиграла.

Писатель, хочет он того или нет, дает читателю то, чего последний от него ожидает. И если читатель требует одного лишь развлечения, пусть даже оно будет весьма утонченным, как у Джойса, Кафки или Набокова, то писатель этот спрос удовлетворяет.

А что у нас, в Израиле?

Как и все явления культуры и моды, этот поворот тоже пришел к нам с опозданием. До начала пятидесятых годов мы все еще жили представлениями, имевшимися на этот счет в России и Польше двадцатых-тридцатых годов. До провозглашения государства читатель все еще ждал от литературы ответов на насущные вопросы времени. Вплоть до середины пятидесятых годов тираж книги израильского автора был значительно выше, чем нынче. Читатель нуждался в той картине мира, которую рисовал для него автор, рассказывавший о привязанности евреев к Сиону и о еврейской судьбе.

Недаром у покойного Хаима Хазаза было такое чувство, что именно писатели создали это государство и оно платит неблагодарностью своим создателям. Порой мы слышим эти жалобы в несколько измененной форме и сегодня с трибун писательских конференций. Средний читатель, далекий от литературных дел, слышит эти жалобы и не может взять в толк, о чем тут вообще речь. Он не видит никакой связи между литературой и делами общества и государства. Израильскому обывателю не нужны больше ни книга, ни стихотворение — у него есть средства массовой информации, и они дают ему все, что ему только хочется знать по любому вопросу.

Между тем на примере Израиля видно особенно ярко, польза вышла или вред от этого нынешнего перевеса публицистики над художественной литературой.

Все существование государства Израиль противоречит общепринятой логике. Нет никаких геополитических оснований собирать именно сюда евреев со всего света, нет никакого экономического резона создавать именно на этой полосе, лишенной природных богатств, современную индустриальную экономику, с нравственной точки зрения, нет никакого оправдания тому кровавому единоборству, которое мы ведем с арабами и, вероятно, будем вести еще много

поколений. И если подойти к сионизму с обычными рациональными мерками, вполне подходящими для иных политических и экономических явлений, то покажется, что он обречен с самого начала. Только чувства, коренящиеся глубоко в подсознании особого народа, они одни лишь служат оправданием сионизму и всему тому, что происходит в стране. Чувство, а не логика определяют нашу особую правду жизни в этой стране, особую отнюдь не в выгодном для нас смысле.

Утилитарная логика публицистики подсказывает, например, что человеку следует стремиться к тому, чтоб получить от общества как можно больше, а дать ему как можно меньше. На этом построена вся западная экономика. В США, например, тот и есть идеальный гражданин, кто ежегодно покупает новую машину и вообще все, что попадется на глаза. Ведь именно ненасытный потребитель поощряет промышленный прогресс. Иное дело в Израиле, где страна, стремящаяся как-нибудь обеспечить свое существование,

обязывает каждого к самоограничению. В любом нормальном обществе разве есть более естественное стремление, чем тяга из деревни в город? В Израиле же это стремление расценивается совсем по другому счету. Список различий можно было бы продолжить.

Вся система ценностей у нас совершенно другая. Угроза, висящая над нашим существованием, вводит новые оттенки в спектр чувств израильтянина, пустившего корни в этой

стране. Израильская правда, картина мира у израильтянина, его этос — совершенно особая сфера, не имеющая себе аналогии в мире.

Художественная литература чувствует эту сложность очень хорошо. В большинстве хороших израильских романов и повестей именно эта сложность находит свое выражение. Израильтянин, чья картина мира выстроена на основе читанной им израильской литературы, лучше понимает жизнь страны со всеми ее мрачными и светлыми чертами, лучше разбирается в сложном конгломерате романтических, национальных и исторических элементов в душе ее граждан.

Социологическая же публицистика показывает нам в худшем случае негодяев, а в лучшем — сбитых с толку обывателей, не знающих, собственно, для чего они здесь и зачем им жить в стране, на протяжении нескольких поколений находящейся в состоянии непрерывной войны с арабскими соседями. Публицистика вычисляет количество квадратных метров жилья и долю национального дохода на душу населения; она основывает на цифрах свои выводы о счастье, о добре и зле. Быть может, это годится для Запада, где главная проблема — справедливое распределение уже накопленных обществом богатств. У Израиля проблемы другие. И неверно избранный масштаб в корне искажает действительность. Люди, воспитанные публицистикой, создают себе неверную картину общества, в котором они живут, неверны и их представления о самих себе.

Организм, наделенный здоровым инстинктом, чувствует опасность и умеет приспособиться к ней. Чем, как не утратой инстинкта самосохранения, можно объяснить то обстоятельство, что правительство не в силах уговорить нынешнее

поколение израильтян работать побольше и потреблять поменьше? Если нам так трудно подтянуться — значит, что-то испортилось в нашем общественном организме. И по-моему, дело в утрате большинством граждан адекватной картины мира.

Сионизм похож на религию не только с точки зрения идейной и абстрактной, но главным образом с точки зрения конкретной и практической. Еврей, живущий за морем, считающий себя сионистом и жертвующий по мере возможности на Израиль, гораздо меньше нуждается в религиозно-сионистской мощи, чем еврей, репатриировавшийся в Израиль и живущий его повседневной жизнью.

Художественная литература это поняла. Публицистика же утверждает, что сам факт проживания в Израиле освобождает еврея от необходимости быть сионистом: достаточно дескать не нарушать законов государства, чтобы исполнить свой сионистский долг. Наставления современной деловой публицистики, может быть, годятся для бездуховного образа жизни, но, конечно, они не могут направлять и поддерживать духовно насыщенную, сионистскую жизнь.

Духовный образ жизни давно разошелся с сухой прагматикой публицистики. И на преобладающем влиянии публицистики над литературой лежит вина за очень многие язвы в нашей жизни. Над этим стоит подумать каждому человеку в Израиле.

Перевел с иврита Михаил Ор.
(журнал "Мознаим")



Герман ФАЙН

В РОЛИ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ ШВЕЙЦАРОВ

Беглые заметки об эмиграции еврейской интеллигенции из Советского Союза.

В СССР уже нет еврейской интеллигенции, но есть — и очень много — евреев-интеллигентов. Не стану вдаваться в философский анализ понятия "интеллигенция", понятие, достаточно пестро дефинируемое в разных мировоззренческих системах. Речь пойдет лишь о тех группах евреев, которые создают национальную культуру на интеллектуальном уровне. Для истинного еврейского интеллигента-гуманиста проблемы России интересны лишь в той степени, в которой они связаны с судьбой Сиона. В России же еврейская национальная культура методически уничтожалась десятилетиями, а в конце 40-х годов началось и физическое уничтожение деятелей этой культуры. Еврейство как понятие культурно-политическое в СССР едва ли не равнозначно понятиям "шпионаж", "измена Родине" и т. п. И лишь в конце 60-х годов очень небольшая группа ученых, причем не гуманитариев (наиболее яркая фигура среди них безусловно Александр Воронель),

начала с убежденностью, а главное, с необходимой компетентностью и решительностью вновь восстанавливать еврейское национальное сознание в России. И вполне естественно, что для еврейской интеллигенции, вовлеченной в орбиту сионистского мышления, проблема эмиграции не казалась столь сложной: выезд в Израиль органически вытекал из ее психологической и духовной структуры. В настоящее время еще не убитая и не сосланная еврейская интеллигенция почти полностью покинула Советский Союз и уехала к себе на Родину — в Израиль.

Но в России осталось много евреев-интеллигентов, людей, абсолютно не связанных со своей национальной культурой и настроенных более космополитически и даже подчас русистски. Я не буду здесь становиться на позиции исторического судьи: нет такого права ни у меня, ни, я думаю, у кого-либо иного: нельзя обвинять человека за ту стихию развития, которую не он создавал. Я уверен в том, что духовный мир зрелого человека не может быть изменен по чьему-либо желанию.

Но помимо субъективного ощущения человека (того, что он думает о себе) существует социальная оценка его личности. Советский еврей может сознавать себя кем угодно — космополитом, славянофилом, католиком, коммунистом, — советские власти обозначили его навсегда евреем, и пятый пункт в советском паспорте и в анкетах выделяет его из советского общества столь же определенно, как магендавид — немецкого еврея во время нацизма.

"Раз тебя назвали евреем, будь им", — говорят ему сионисты.

"Служи нам, и мы простим тебе твое еврейское происхождение", — говорят ему (разумеется, не вслух) советские власти.

Еврей же интеллигент хочет одного: чтобы его принимали таким, каким он стал в результате развития той страны, в которой он родился и воспитывался.

Положение еврея-интеллигента в России двойственно. С одной стороны, он служит русской культуре, а с другой стороны, он ощущает некоторую обособленность от нее. Нацио-

нальное угнетение, которое еврей в той или иной степени всегда ощущает в России, возбудило у большинства евреев-интеллигентов настороженное недоверие к проповеди любой националистической идеи. И вместе с тем советский еврей-интеллигент всегда помнит, что он не просто ученый, музыкант, инженер, врач, учитель, но что он музыкант-еврей, врач-еврей, филолог-еврей и что, как бы чтива ни была первая часть обозначения, во второй таится некая опасность. Таким образом получается, что еврей-интеллигент — противник всякой национальной исключительности — поставлен в положение именно этой самой исключительности. Он вынужден "болеть" за две футбольные команды, — положение парадоксальное.

И вот когда, примерно с 1968 года, возникла возможность покинуть Россию, в среде интеллигентов-евреев начались метания. Еще Достоевский устами Великого Инквизитора выразил сомнение в благе свободы выбора. Когда советские евреи знали, что выбора нет и надо просто терпеть и приспособливаться, им, кажется, было легче жить, чем теперь, когда у них появилась свобода выбора места жизни и творчества. Гамлетовский вопрос "быть или не быть?" заменился в мятущемся сознании еврея-интеллигента вопросом "ехать или не ехать?".

Первая волна бегущих из России в конце 60-х годов была еще движима одним стремлением — провести остаток дней своих в той единственной стране, где нет антисемитизма, — в Израиле. (Оговариваюсь, что пишу об интеллигенции: с теми, кто воспользовался возможностью отъезда в целях обогащения, я просто не общался.)

Однако довольно скоро выяснилось, что Израиль нуждается не в евреях-интеллигентах (я имею в виду гуманитарную интеллигенцию), а в еврейской интеллигенции. Толерантно мыслящий еврей счел это вполне естественным, однако с ужасом понял, что в том качестве, в котором он себя признавал, ему в Израиле делать нечего.

Тогда-то и возникло среди евреев-интеллигентов новое течение, которое набирает все большую и большую силу. Порыв

к свободе, связанный со стремлением к самовыражению, требовал выхода. Не веря в возможность найти себе применение в Израиле, еврей-интеллигенты переменили ориентацию на Запад, главным образом на США.

Запад встретил их своим неслыханным материальным благополучием и возможностью включиться в общество потребления. Как же были неприятно поражены американские евреи недовольством спасенных советских братьев, их "привередливостью": преподаватель вуза не захотел разносить почту, поэт не захотел обзаводиться бензоколонкой. Приехавшие пришли к выводу о трагической ошибке: не было смысла выезжать из России. Но ведь и оставаться в России нельзя. Ни один сколько-нибудь здравомыслящий человек уже никогда не поверит, что в СССР представится возможность жить без страха перед оскорблениями, травлей, лишением средств к нормальному существованию.

Положение еврея-неинтеллигента гораздо легче: он готов работать где угодно и кем угодно, лишь бы купить домик, машину, а то и завести дельце, то есть получить то, чего он был лишен в России, да к тому же и жить без страха погрома. Поэтому никогда не иссякнет поток евреев-торговцев, ремесленников, рабочих низкой квалификации, парикмахеров и т. п., едущих в Израиль (история уже окончательно доказала, что бюрократическая экономика СССР до окончания века не сможет создать для жителей России таких благ, которые имеют люди Запада), но все меньше будет — и в конце концов иссякнет — ручеек интеллигенции, текущий из СССР на Запад и в Израиль. Ибо интеллигенции нужна не сытость, а удовлетворение духовных устремлений. К тому же интеллигент не способен к борьбе за существование, к конкуренции. Особенно не способен к такой борьбе советский интеллигент: ведь о его жизни в отведенном для него загоне всегда заботились советские правительственные пастыри.

Если дело так пойдет и дальше, советское руководство сохранит у себя еврейские мозги и избавится от еврейского племса (рабочих, ремесленников, торговцев достаточно

и среди русских), а Запад и Израиль получают услугу, некавалифицированную рабочую силу, спекулянтов. Это не первый случай, когда недалёковидные западные деятели помогают советским властям.

Советская пропаганда великолепно использует создавшуюся ситуацию. Весьма редко советские газеты пишут, что советским евреям на Западе приходится голодать или валяться под забором из-за отсутствия жилья. Но зато смакуются все злосчастия советских евреев-интеллигентов, вынужденных на Западе и в Израиле подчас уже не в молодые годы менять профессию, да и сам стиль отношений с людьми. А так как очень многое из того, что сообщают советские органы информации, совпадает с тем, что пишут эмигранты домой, то советская пропаганда может торжествовать одну из чрезвычайно редких побед.

Вся советская пропаганда ориентирована главным образом на евреев-интеллигентов. Я утверждаю, что, как только из России уедут все еврейские интеллигенты, сознающие свой долг перед Израилем и историческими судьбами еврейской нации (а таких в России фактически почти не осталось), выиграет советская система и проиграет дело гуманизма, проиграет Запад.

Нельзя забывать о том огромном вкладе, который внесли еврей-ученые, еврей-врачи, еврей-художники, еврей-учителя в развитие советской культуры.

Ужас в том, что тем самым они укрепляли и укрепляют самое антисемитское после нацистской Германии государство в мире. Близорукие евреи и вообще демократы на Западе не понимают, что задача сейчас состоит не только в спасении "отдельных лиц еврейской национальности", как их называют в СССР, но в том, чтобы еврей-интеллигенты работали на пользу человечества, а не на усиление тоталитарного антисемитского государства, как сейчас.

В Москве циркулируют слухи — и не верить им нельзя, — что ЦК КПСС принял очередное постановление об усилении идеологической работы среди интеллигенции. Читавшие это постановление обратили внимание на острые формули-

ровки, касающиеся сионизма. Как известно, для советского человека слова "сионист" и "еврей" — синонимы. Всякий раз, когда начинается кампания против сионизма, евреи ждут — и не без основания — очередной антисемитской истории. Особенно обеспокоены евреи, читавшие это постановление, тем, что сионисты (читай: евреи), выразившие желание выехать из России, — изменники Родины. А, как известно, измена Родине в СССР карается расстрелом.

Становится ясным, что советские власти начинают наступление на евреев, намеревающихся покинуть СССР. В связи с дебатами в американском сенате о торговой реформе официальные советские органы начали распространять заявления, что-де количество прошений советских евреев о выезде в Израиль резко сократилось. При полном отсутствии гласности в СССР достоверность подобных заявлений проверить невозможно. Однако опыт потребителя советских пропагандистских материалов учит, что, если утверждается некий факт, власти сделают все возможное, чтобы выдуманное ими, то есть еще не ставшее фактом, стало таковым. При запуганности советских людей дело это несложное.

Таким образом, сейчас возникает следующая ситуация: на советского еврея-интеллигента оказывается двойное давление. С одной стороны, ему угрожают власти страны, в которой он живет. С другой стороны, он читает статьи о перспективном положении евреев-эмигрантов на Западе, истинность которых подтверждается многими письмами оттуда.

Если еврей, ищущий на Западе или в Израиле материальные блага, все же рискнет подать заявление на выезд, чтобы, пережив страх расправы и претерпев угрозы, все же в конце концов получить ожидаемые жизненные блага, то еврей-интеллигент уже сейчас приходит к выводу, что нет никаких оснований идти на риск борьбы с органами советской власти, если на Западе надо вступать в непривычную, изнурительную борьбу за право заниматься делом, которому хочешь посвятить жизнь. Если молодежь еще, возможно, пойдет на такой риск, то люди немолодые, то есть наиболее квалифицированные, предпочитают оставаться пусть в тяже-

лом, но привычном положении. Повторяю: я не говорю о тех евреях, которые действительно прониклись духом сионизма; они, разумеется, думают не о своих духовных потребностях, а о своей Родине — Израиле, — которой они готовы служить в любом качестве.

Не буду в этих беглых заметках давать нравственную оценку такой позиции: это тема философской статьи. Сам я, человек уже немолодой, вряд ли способный изменить свою профессию и мировоззрение, все же решил покинуть СССР, чем бы мне это ни грозило, ибо не хочу служить стране, оскорблявшей во мне человека, верующего в Бога, ученого, педагога. Но я понимаю точку зрения, изложенную выше, и весьма сожалею, что западная общественность (не говорю уже о правительствах, забывших об уроках Мюнхена) не понимает, как важно воспользоваться моментом для того, чтобы направить интеллектуальные силы советских евреев на служение гуманизму, а путь к этому лишь один — не перевоспитание советских евреев-интеллигентов, и даже не оказание им главным образом материальной помощи, что

великодушно делают ХИАС и Джойнт, но создание новых проектов и тем самым новых возможностей для того, чтобы они могли продолжить свою научно-преподавательскую деятельность. Не обижая западную интеллигенцию, все же хочу подчеркнуть, что еврей-интеллигент из СССР гораздо зорче видит угрозу, нависшую над человечеством. Немыслим, например, советский интеллигент... маоист; на Сартра советский мыслящий интеллигент смотрит, как на несмышляныша, играющего со спичками и не понимающего совершенно ясных вещей. Советские еврей-интеллигенты могли бы стать на Западе сильнейшими борцами против всех видов экстремизма, которым сейчас увлекается западная интеллигенция, не понимающая, что "Архипелаг" — это не плод фантазии гения, а неизбежное следствие революционных "забав".

Не боясь преувеличений, скажу, что во многом еврей-интеллигенты из СССР больше нужны Западу, чем Запад им. Разумеется, если Запад не хочет иметь у себя Колымы и Соловков.

Еврей-интеллигент из СССР хочет рассказать миру о том, чего мир не знает и, к сожалению, не понимает. Не деньги влекут его на Запад.

Истинный интеллигент-еврей готов, работая на профессорской должности, получать жалование швейцара, но он не готов на то, чтобы работать швейцаром, получая жалование профессора. Особенно это касается работников гуманитарных наук. Специалист по истории литературы и общественной мысли никогда не уедет из России, будь он евреем хоть в десятом колене, если не получит гарантии, что сможет в Израиле или на Западе заниматься тем, чем считает необходимым для себя и для людей. Да, в СССР вымирает философия, социология, литературоведение, ибо нет более явного абсурда, чем сочетание однопартийной системы и свободы гуманитарных исследований. Однако менять рабство перед властью на рабство материальное — необходимость зарабатывать хлеб чуждым тебе трудом — не хочет подавляющее большинство советских евреев-интеллигентов.

И в результате все большее и большее число советских евреев-интеллигентов на сакраментальный вопрос "ехать или не ехать?" теперь отвечает отрицательно.

В Москве ходила шутка: "Еврей, который уезжает, — смелый человек, а еврей, который остается, — очень смелый человек". Теперь же говорят иначе: "Очень смелый человек тот, кто уезжает".

Если западные правительства и западная общественность осознают необходимость поддержки эмиграции из Советского Союза, они должны позаботиться о создании Центров русской культуры на Западе. Когда-то, сразу после II мировой войны, правительство Трумэна создало фонд помощи так называемым перемещенным лицам, давший большую поддержку людям, бежавшим от нацистов и советских коммунистов. Сейчас создать подобный фонд легче хотя бы потому, что из СССР на Запад прибывают не разоренные войной и не вынужденные спасаться люди, а интеллигенты-идеалисты. Они стремятся к духовной свободе, к свободе научных исследований, к личной свободе. Если

потребуется вначале большие вложения в предлагаемый здесь центр русской культуры, то вложения эти быстро и сторицей окупятся в финансовом (не говорю уж о гуманитарном) отношении: научная продукция исследовательских институтов, входящих в подобный центр, будет огромна. Боясь именно утечки мозгов, советское правительство одно время ввело налог на образование для эмигрантов. Теперь ему бояться уже почти нечего: из России все меньше и меньше уезжают еврей-интеллигенты, ибо теперь уже ясно, что Запад предоставляет несравненно большие возможности, чем Советский Союз, для обогащения, но спорно, дает ли он больше для творческого самовыражения.

Итак, происходит резкий спад эмиграции советских евреев-интеллигентов.

А ведь отъезд из СССР уважаемых людей способствовал там развитию критических настроений у молодежи. Когда уехал из СССР один из любимых московской молодежью учителей, не испытывавший ни преследований со стороны власти, ни острой нужды, одна девушка, русская, сказала: "Если такой человек не может здесь жить, значит, что-то страшное происходит в нашей стране, чего мы не понимаем и не видим, а он, мудрый, видит и понимает".

Грустно, если Запад не поймет, как важно для демократии и гуманизма создать условия для эмиграции из СССР интеллигенции, а не помогать вольно или невольно советским властям эксплуатировать еврейские умы для построения бесчеловечного общества.



Наталья РУБИНШТЕЙН

СКВОЗЬ ИСПОВЕДЬ СЫНА ВЕКА

*К выходу в свет автобиографического повествования
Виктора Перельмана "ПОКИНУТАЯ РОССИЯ" **

Медленно и неохотно поддаваясь, проскрипели и приоткрылись ворота, выпуская на волю в широкий мир вчерашних обитателей страны, о которой пелось, что она "страна героев, страна мечтателей, страна ученых" и что в ней "с каждым днем все радостнее жить". Но об этой же стране было известно, что границы ее "всегда на замке", а "если враг не сдается — его уничтожают". Лучшие люди нашего столетия — Ромен Роллан, Бернард Шоу, Лион Фейхтвангер — держатели патента на благородство, числили себя ее друзьями. Лишь отдельные жалкие перебежчики, которых и слушать-то никто не слушал, доносили тревожные вести. Выходило, по их словам, что героев страна казнит, мечтателей гноит в тюрьмах, а ученым создает все условия для свободного творчества в лагерных шарашках.

* Книга первая "Иллюзии"

Граждане ее даже на три дня не бывали отпускаемы за границу иначе, чем по согласованию с парткомом и месткомом, — граница действительно была на замке и с внутренней стороны запиралась крепче, чем снаружи. Врагов же уничтожали непрерывно, не ведя даже переговоров о сдаче, и никто не мог бы сказать с уверенностью, что завтра не окажется зачисленным во враги.

С 7 ноября 1917 года и по сей день не прекращается в этой стране гражданская война правительства с населением, жестокая война на истребление безоружных, превентивная война против возможных зачатков инакомыслия.

Еврейское упорство изнутри, поддержанное силой еврейской солидарности снаружи, не вдруг и не настежь, но раздвинуло заржавленные от неупотребления ворота. Чуть обозначилась между створками щель, и возле этой узкой щелки немедленно выстроилась длинная очередь на выход, и в ней не одни только евреи. При выходе их на прощанье шмонали, не давая унести с собой то дедушкины часы, то нынешнюю хохломскую поделку. Но на дне чемоданов и рюкзаков более всего сберегались многими пачки плотно исписанных листочков. И некоторые унесли их на волю. Теперь эти листочки продолжают жить в виде книжек.

Сколько их вышло уж за самые последние годы! "Тесные врата" Ю. Глазова, "Россия без прикрас и умолчаний" Л. Владимирова, "Заложники" Г. Свицкого, "Диссидент поневоле" Е. Эткинда, "Трепет забот иудейских" Ал. Воронеля... И вот перед нами еще одна. Книга бывшего московского журналиста Виктора Перельмана "Покинутая Россия".

Как и большинство названных выше книг, она написана не здесь, а там, что показательно. Все эти книги — а они ни в чем не сходятся, кроме этой подробности, — написаны для себя и лишь изданы для других. Здесь расчеты с прошлым, с самим собой, здесь выход из сферы заблуждения, необходимая остановка, без кото-

рой невозможно двигаться дальше. Ныне течением времени довольно далеко отнесло автора от его собственных рассуждений о прошлом. Склонившись над рукописью в своей московской квартире, автор, думаю, чувствовал возможными читателями тех людей, среди которых прошла вся его жизнь, себе и им объяснял нелегко давшееся решение выйти из привычной игры, себе и им излагал смысл ее непреложных правил. Ныне читатель у книги другой. Но автор справедливо решил ничего не менять — измененная, это была бы уже другая книга с другим героем.

Важно же рассказать именно об этом, о еврейском мальчишке, родившемся в Москве в конце двадцатых годов, перед войной ставшем пионером, а на исходе ее — комсомольцем, о юноше, с волнением сочинявшем от лица своих сверстников "Письмо товарищу Сталину", о школьнике и студенте, о партийном журналисте, далеком от всякого критиканства, но просто стремившемся порой совместить "передовое мировоззрение" с состраданием к отдельным человеческим бедам, — и битым неоднократно за каждую такую попытку. Название данной статьи, перекликающееся с заглавием известного романа Альфреда Мюссе, не имеет целью польстить автору. Век был препротивный папаша и не наставлял добру. (Так и лермонтовский "Герой нашего времени" звучал для автора и современников с ударением на втором или третьем слове, и не о героизме шла речь.) У века множество сыновей. Вот исповедь послушного сына. Послушного до поры до времени.

Автору удается соединить сегодняшнюю иронию по отношению к себе давно прошедшему с непосредственной передачей прошлых ощущений. Отчетливо видно старание не умудрять ранее бывшее опытом сегодняшнего дня и нечастое умение говорить о себе беспощадно.

Еще до рождения автора-героя ткань затянута в жесткую рамку пялец истории, и уже задана канва, по которой время вышьет его личный сюжет. Жизнь давно обряжена в известные лозунги-формулы "бессмертного учения",

которое "всесильно, потому что оно верно". Истина найдена, дальнейшие поиски ее заказаны, и отныне сыновья века должны лишь сверяться с известной идеологической таблицей: "три источника и три составные части марксизма", или "пять признаков нации", или что-то подобное в том же роде. Десятилетиями нас будут спрашивать на экзаменах: "Почему в-шестых победила революция?" — и мы очень не скоро задумаемся, почему же она победила во-первых, и если победила она, то кто же тогда потерпел поражение.

Светлое советское детство: горн и барабан, юнгштурмовка и нашивки пионерского активиста на рукаве. Две слабые тени омрачают праздник вхождения в жизнь. Не спит ночами отец, прислушиваясь к шагам на лестнице, — на дворе как раз 1937 год. Враги повсюду, всеведущи и коварны. Некий мистический туман наползает на ясную, распланированную по пятилеткам на века, счастливую жизнь: "если перевернуть вверх ногами картинку букваря с Колонным залом Дома Союзов, то получится огромный уродливый таракан. Недремлющие вредители действовали даже здесь". Это первое слабое пятнышко, предвестье будущих загадок и противоречий, иррациональная тень, едва касающаяся юных душ, обреченных марксистскому рационализму.

Но время дум еще не настало. Пока что надо спешить жить: играть в штандр, бежать на каток... И ежеминутно ощущать, что живешь: "в самой юной счастливой стране", где мысли прямы и просты, все дороги открыты и все равны от рождения... Но мальчик идет по бульвару, а вслед ему, в нарушение прописей и правил: "Абрашка! еврейчик! жид!" Это та беда, которую еврейские дети чаще всего не доносят до родителей; никто их специально не учит, а все же они быстро понимают: с этим надо справляться самим. Московский интеллигентный дом: разговоры на национальные темы не ведутся — неприличны. Семья оставляет сына безоружным. На том месте, где полагается быть спокойной уверенности национального

самосознания, у него лишь ощущение врожденного уродства, незаслуженного невезения. Вот он стоит перед зеркалом, разглядывая мальчишеские бицепсы, и мечтательно бормочет о себе в третьем лице: "Он был еврейского происхождения, но русского телосложения". Эвакуация, задворки жизни, глубинка, нутряной антисемитизм быдла дополняют эту мечту о силе проверенным способом защиты своего личного достоинства: за жида — в морду! Другой способ, который герой отыскивает сам, традиционно еврейский: утверждение своего интеллектуального превосходства, честолюбие детской ученичности, успехи в школьных науках. Еврейской тени суждено удлиниться в жизни героя. На выходе из отрочества, совпавшего с годами войны, он уже имеет некоторый жизненный опыт, который, если бы он тогда стремился к обобщениям, мог бы свидетельствовать, что официальные формулы, по крайней мере, не покрывают всего пространства жизни и часто оказываются ложью.

"Главное — не обобщайте", — учили нас на случай замеченных отдельных недостатков. "Есть правда жизни и правда факта", — сообщили нам, когда мы подросли. Наши мелкие беды шли по разряду "фактов", великая правда жизни совершалась помимо них, и следовало верить, что она прекрасна. Из дальнейшего хода повествования ясно, что герой книги, как и большинство его сограждан, в своей житейской практике учитывает "правду факта", но таков поразительный эффект советского воспитания, что кричащий ужас жизни долгое время не колеблет основ государственного вероучения.

Еврейство, "пятый пункт" — был "первым пунктом", в котором обнаружилось для послевоенного поколения, что страна разделяет своих детей на сыновей и пасынков. Россия выиграла войну с фашизмом — это правда жизни, а то, что еврейских медалистов отвергают с порога московские вузы, — всего лишь мелкая правда факта. И то, что из перечня детей разных советских народов, от лица которых наш герой приветствовал в день окон-

чания школы лично товарища Сталина, райкомовский цензор вымарал евреев, — тоже мелочь: "Русских в стране сто миллионов, а евреев сколько? Я не знал сколько именно, но был уверен, что ничтожно мало. Постыдной и уничижительной кажется мне сегодня эта философия, но я обязан ее излагать такой, какой она жила во мне тогда".

Время в книге Виктора Перельмана разложено не по десятилетиям — по годам. У него на редкость точная память. Сорок шестой послевоенный год, раздетый, разутый и голодный, но опьяненный надеждами и ожиданием близких перемен, дан им в точном ощущении и потому, что в жизни автора то была начальная пора юности, и потому, что сходными напряженными ожиданиями жила тогда вся измученная страна.

Иронически посмеиваясь над банальностью своего младенческого романтизма, автор рассказывает, как после мрака эвакуации простые приметы забытого мирного времени казались выросшим подросткам знаками далеких возвышенно-прекрасных миров: "Эля и Неля, наши обожаемые л а у р ы, с газовыми шальками на плечах, сидели в старинных плетеных качалках (даже качалки, казалось, из с к а з о к), а у их ног расположились их верные р ы ц а р и и читали стихи". Нужды нет, что из двух "верных рыцарей" один доносчик, а другой — его будущая жертва, что у одного из них впереди кресло партийного идеологического босса, а у другого — место на нарах в одном из уголков необъятной Страны

Зэка. Сорок шестой год не похож на сорок восьмой или сорок девятый, и младшему поколению подмосковного дачного "салона" еще позволено с надеждой смотреть в будущее, читать Пастернака и слушать рассказы Шолом-Алейхема.

Год 1948. Год 1949. Счастливые студенческие времена: вечеринки, девушки, самому себе непонятная жестокость, комсомольская работа. И фоном ко всему не диспуты красноречивых защитников права — не забудем.

что речь идет о Юридическом институте,— а смертельные заседания Ученого совета, на которых творится суд и расправа над самыми грозными вчерашними профессорами — дело космополита Черниловского, дело космополита Гурвича, дело космополита Стальгевича. При виде растерянного и униженного вчерашнего неприступного экзаменатора даже самый тупой студент сообразит кое-что по части современного ему права.

Наш герой далеко не из самых несообразительных — он только не знает еще, что, когда клеймят безродных космополитов, дело касается и его. Трудно это было — догадаться уже тогда, что тебя касается и что не касается.

Надрывается зал, аплодируя палачу Вышинскому, — "и я тоже дубасил ладонями даже тогда, когда Вышинский с издевочкой говорил о государстве, где читают справа налево. Что мне до этого Израиля? Жил без него и дальше проживу. Другое дело, моя страна, мой институт...". И пока в "своей стране, в своем институте" сооружает он "комсомольское дело Ильиной", "которая ходила в слишком короткой юбке и красила перекисью волосы", и в ответ на растерянность и слезы отрубает решительно (какой высокий образец прокурорского лаконизма видит он перед собой в эту минуту?!): "Довольно! Она не искренна. Предлагаю исключить". Среди многих счетов, предъявляемых сегодня советской власти, Виктор Перельман достает из собственного прошлого и этот: счет за растление молодости.

Придет, придет черед и его собственному персональному делу, раздутому из пустяка, и так же крикнут ему: "Довольно, он не искренен". Ситуации трафаретны, роли расписаны, правила игры известны: на этот раз твой черед водить, стой и кайся — кто знает, игра, быть может, со смертельным исходом.

В эти опасные игры играет вся страна: в космополитов, во вредителей, в "дело врачей" — уже 1952 год. Сюжеты надуманы, плохо скроены и неладно сшиты, но пахнут кровью и потому серьезны. Медленно набирает силу в книге эта тема постоянной игры по известным

всем правилам. Смерть Сталина в 1953 году тоже подана в книге в житейском преломлении и игровой официально-патетической трактовке. Из старой газетной подшивки извлекает автор репортаж Алексея Суркова, выражения скорби, которыми советская литература — род потешных войск при великом кормчеме — проводила в гроб главного режиссера кровавых всесоюзных игрищ, длившихся три десятилетия: "...на капитанском мостике корабля истории... мундир генералиссимуса... седина, как ранний осенний снег... родной, любимый... неутомимый труженик, заботник за всех нас..." А на соседней странице, в взаправдашней жизни, бьется знакомая еврейская тревога — мечутся у репродуктора родители героя: "Борис, Борис, что же будет?! Что будет?" — "Что? Что ты разбегалась? Что будет, то будет! — Хуже не будет!"

Вот так и идет вдоль всех воспоминаний Виктора Перельмана дорога, накатанная в две колеи: то, что было на самом деле, и то, чему, с официальной точки зрения, полагалось быть, — та самая двухколейка, по которой катится современная Россия. В России поверх жизни творится внежизненный условно-литературный сюжет, потом этот сюжет записывается в официальную историю. "Год великого перелома", "Сталинский план коллективизации сельского хозяйства". Пленум ЦК "О мероприятиях по крутому подъему...". Шестьдесят лет советское сельское хозяйство "на крутом подъеме", а мяса нет и хлеба не хватает... Многократно говорилось в советской печати об отставании литературы от жизни, но корень зла в том, что дело обстоит как раз наоборот: жизнь не поспевает за бодрой поступью газет, отстает от предписанного ей государственного литературного сюжета.

По роду своих занятий — журналист, и журналист партийный, автор, торопясь и оступаясь, шкандыбал по обеим колеям сразу — в напряженных поисках той точки, где сойдутся вместе две проклятые колеи: слово

и дело, лозунг и факт, агитка и жизнь. Перебираясь из захолустного "Мособлполиграфиздата" на страницы видной столичной газеты "Труд", из областной газетенки "За рулем автомобиля" в богатый журнал "Советские профсоюзы", из глубин журналистики кидаясь в жизнь — на рыболовном сейнере уходя на месяца в море, а оттуда вознесясь в редакцию элитарной "Литературной газеты", — автор так и не нашел точки слияния идеологической фразеологии с жизнью, с реальностью, которую он видел вокруг себя. Всякий раз, поднимаясь со ступени на ступень, он полагал, что разделался с занятием, для которого придумано в современном русском языке много выразительных названий: "туфтить", "залить бабки", "наводить тень на плетень", "раскидывать чернуху", "лить воду"... Но с каждой новой ступени воды лилось все больше и больше. Сам автор называет ее "akva pura", "чистая вода", — но это вода не чистая, это грязная вода демагогии.

Мутные волны этой воды приносят кому деньги, кому степень, кому большую карьеру: защищается докторская диссертация "Государственно-правовое положение советского депутата" — не трактат о бесправии статиста на государственной сцене, а словесная жвачка о том, "как часть функций исполкома сельсовета была передана сессии сельсовета и благодаря этому роль народных избранников еще более возросла".

Я другой такой страны не знаю, где так сильно любили бы образ, троп, перефраз. Где бесправного депутата называли бы "народным избранником", голодного крестьянина — "тружеником колхозных полей", задержанного рабочего — "передовиком коммунистического труда"... Но в книге этой вскрывается и взрывается не только словесный штамп, но и штамп поведения ответственного партийного работника. Как точны, как колоритны эти знакомые речи! Откуда знакомые? В жизни я не видела близко (Бог миловал!) ни одного крупного босса, вроде перельмановских начальников

Ликовенкова или Омельченко. Но уменьшаясь, точно слоники на рояле, партийные чиновники, мельчая в должности, сохраняли стиль и жанр.

Точно был некий литературный эталон, которому следовали все они от мала до велика. Думается, что так оно и было на самом деле. Советская литература, вернее, советская демагогическая литературная фантастика, все эти Павленки, Бабаевские, Бубеновы, Калинины — имя же им легион — создали и поставили над жизнью литературный образ большевистского начальника, выдали ему образцы стиля, сочинили этикет и вооружили спецнабором руководящих мудростей и должностного остроумия. "Не для того, дядя, нас сюда партия поставила, чтобы мы в цифири увязли", — Господи, думается, да неужели не в "Кавалере Золотой Звезды" происходит дело?Нет,

дело происходит в Управлении культуры Мосгорисполкома, и тов. Ликовенков — бывший заместитель министра. Он же рассказывает замечательный эпизод, как в первую военную осень "Сталин хотел лично ознакомиться с положением дел на подступах к столице и каждому из секретарей райкомов задавал один и тот же вопрос: "Как думаете, товарищ Ликовенков, Пресня не подведет Москву?" — "Не подведем, товарищ Сталин. Умрем, а не подведем", — ответил Николай Георгиевич". Точно они вдвоем, Сталин с Ликовенковым, сговорились сыграть эпизод из фильма "Падение Берлина" с актером Геловани в главной роли.

Даже в минуту смертельной опасности Вождь, желая узнать правду, довольствовался чистой пропагандной водицей.

Хороший штамп помогает сделать ненужным обсуждение реального вопроса. "Пусть он скажет, как дошел До жизни такой" — после такого вопроса любые ответы излишни. "Вы, значит, правы, а Центральный Комитет Коммунистической партии Грузии ошибается" — выяснять, кто же в самом деле прав, после этих слов и вовсе бесполезно. "Товарищ Богоявленский прямо мне

сказал: "Нарубили тут дров товарищи", — кто ж теперь станет возражать, если товарищ Богоявленский сказал, что нарубили.

Это игра, вроде футбола, и существует множество способов отпасовать мяч и забить противнику идеологический гол. В книге Виктора Перельмана в эту игру играют в редакциях газет, в столичных учреждениях, в Московском комитете партии и в аппарате ЦК. Игра явно берет верх над жизнью, в этой игре забыты Абрам Великовский, жертва антисемитской квартирной травли, страдания девочки Нади Харченко, покушавшейся на самоубийство, желание молодого партийца Васильева помочь работе

сельских клубов. А у героя — автора книги, призванного по роду своей деятельности заниматься производством фикций — репортажей о бригадах коммунистического труда, рабочих починах, связей писательской общественности с производством, — то есть всего того, что, родившись на казенной бумаге, никогда не переходит в жизнь, есть этот проклятый дар нащупывать болевые точки и наивность полагать, что его официальный статут советского журналиста может совместиться в этих точках с внутренним ощущением профессионального долга хоть иногда вступаться за "правду факта". И каждый раз его ждет закономерное и сокрушительное возмездие.

В матче с карающими партийными инстанциями все мячи, поданные со штрафной площадки, летят прямо в его ворота. Приемы партийных способов ведения полемики изумляют не грозной смертоубийственной силой, как это могло бы быть в тридцать седьмом или сорок девятом годах, а сознательным обесмысливанием ситуации. Комиссия партийного контроля вовсе не собирается рассудить, кто кого затравил и оскорбил: антисемитка Иванова инженера Абрама Великовского или наоборот, — комиссия просто проходит мимо неопровержимых доводов автора защитительного фельетона, подменяя вопрос о правоте журналиста надуманным вопросом о том, почему его фельетон прошел в той, а не другой

московской газете: "Товарищи! Да ведь он же ничего не понял!" — "Абсолютно ничего! — Торговал фельетоном, как на базаре!" — "Нравы желтой прессы! Позор!"

Так отбит в этом матче мяч, и уже звучит финальный свисток судьи: "Завтра же дадите опровержение!"

Примеры таких игр правдивая повесть Перельмана содержит во множестве. И этот последний представляет особый интерес тем, что в этом скромном эпизоде автору удалось обозначить и ухватить распространенное явление, которое из-за камуфляжа партийной словесности в чистом виде редко является наружу. Что вы там толкуете об антисемитизме в СССР? Разве нет у нас евреев ученых, писателей, народных артистов и генералов? И они вам сами — стоит только их хорошенько об этом попросить — расскажут, что никогда не встречались ни с чем подобным! Но вот оказывается, что квартирная хулиганка, потаскушка и пьяница найдет защиту в самом ЦК против годами травимого ею видного, награжденного государственными премиями инженера и вступившегося за него публично журналиста центральной газеты. Причина обнажается внезапно и с силой, ошеломляющей героя своей откровенностью. Из практики жизни он, конечно, знает, что антисемитизм существует на всех ступенях официальной иерархии, но и для него оказывается внове обнажение мотивации: "Почему вы считаете, что всегда права только ваша нация?" — Я не поверил своим ушам: "Простите, как вы сказали?" — "А что я сказал особенного, Виктор Борисович, — сказал, что для нас с вами все должны быть равны, какой бы нации человек ни был". Виктор Перельман обнажает механизм действия государственного целенаправленного антисемитизма на уровне аппарата ЦК и убедительно доказывает, что этот сокрушительный механизм может быть приведен в действие даже по ничтожному бытовому поводу.

Злая звезда, дурацкая способность влезать в ситуации, чреватые партийными санкциями, не оставляет автора и в годы, которые казались ему высшим достижением

в его журналистской карьере, — годы работы в "Литературной газете". Собственно, вся книга есть история крушения одних надежд за другими, история сужения поля поисков места, где помимо способностей к идеологической игре понадобятся профессиональные достоинства. Недолгое время кажется счастливому новым назначением автору, что единственная живая (наполовину) советская газета может быть таким местом. Всем ходом своей предыдущей жизни он подготовлен к тому, что и здесь занимаются производством фикций, литьем пропагандной воды, игрой по правилам: "Виктор Борисович, вы коммунист и, я надеюсь, правильно поймете то, что я вам скажу. Так вот, возьмите лист бумаги и запишите фамилии писателей, чьи произведения не рекомендовано упоминать: Солженицын, Владимов, Антокольский, Сарнов, Войнович, Аксенов, Копелев, Ахмадулина, Конечный..."

В прах разбиваются попытки героя хоть чуть-чуть оживить его разделы в "Литературке". Редакционная практика элитарной московской газеты как две капли воды похожа на ту, что совершалась в ничтожной многотиражке "За рулем автомобиля", только больше цинизма, который участники игры раскрашивают для себя снобистской иронией и сарказмом. Нравы, имена, поступки, редакционные происшествия, которые как некий этнограф, уже отдаляя их от себя, описывает Виктор Перельман, представляют общий интерес как знак неких

перемен в обществе. Для многих уже рассеялся фразеологический гипноз, но, утратив горячку энтузиазма, участники игры не утрачивают старания. Поколение циников приходит на смену поколению околпаченных, и прозрение не для всех означает разрыв с заблуждением. Но для автора книги означает. Легко переносит он очередное карьерное крушение, в точности повторяющее предыдущие.

Задача неучастия во лжи для нашего героя решается выходом из игры — бунтом против всего, чему верой

и правдой служил столько лет. Отъезд в Израиль для автора — героя книги, как и для многих еврейско-русских интеллигентов, является единственным решением своих личных и национальных проблем. И важным уроком, извлеченным автором для себя, оказывается следующий вывод: в России жить не по лжи означает уйти из России.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

"ПОКИНУТАЯ РОССИЯ"

Автобиографическое повествование в двух книгах

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ КНИГА ПЕРВАЯ
"ИЛЛЮЗИИ", 232 стр.*

Содержание:

Москва. Тридцать седьмой

Нарышкинский бульвар

Война

Томск

Я немец

Кедрач

Мой двойник Кирилл Патрикеев

Весна в Быкове

Наш незабвенный ОРС

Заверяем товарища Сталина

Будущий Плевако

Письмо братьям-корейцам

Грозный мэтр Вышинский

Кающиеся большевики

Дело Алика Бакмана

Перед закрытым шлагбаумом

Бухгалтер-гипнотизер

Как я редактировал сельскохозяйственную газету

"Великий заботник"

"Улыбка" Терехова

Чиновное счастье

Мой партийный падре

Бунт в ЦДРИ

"При их молчаливом согласии..."

Стоимость при покупке в редакции 23 лиры, а при пересылке по почте — 24 лиры 10 агорот. Чек высылать по адресу: ул. Нахмани, 62. Т.-А.

*Вторая книга "Крушение" выходит в январе 1977 года.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЛЖИ

В конце апреля прошлого года, среди дня, дверь нашего дома на улице Врубеля в Москве открылась, и на пороге остановился, покачиваясь, человек явно нетрезвый. Мне надоело, что все окрестные пьянчужки таскаются к нам и просят пять рублей до получки, но этот отреккомендовался: "Я друг Тома" (Том — мой младший сын), так что я не решилась выставить его, тем более что он попросил всего лишь папироску. Получив две сигареты, гость поблагодарил и представился: "Подписант Гусаров. Давно, правда, ничего не подписываю, надоело по психушкам валяться, заключил перемирие с советской властью". После его ухода мы догадались, что это тот самый Гусаров — автор произведения "Мой папа убил Михоэлса".

Спустя несколько дней я увидела "подписанта", шагающего по улице, вышла на крыльцо и попросила, чтобы он дал почитать повесть. Он смутился невероятно — наверно, вспомнил свой визит — и ответил: "Так ведь у меня нету. Три обыска прошел, унесли все четыре экземпляра. Сначала, после первого обыска, хотел сделать еще одну закладку, так ведь машинку они тоже унесли. Так что теперь ничего у меня не осталось".

В июне, когда я уже подала документы в ОВИР, московский отказник Володя Вагнер нашел рукопись — кто-то не просто прочел один из позднее конфискованных экземпляров, но не поленился перепечатать.

Прочитав, я поняла, что это одна из тех рукописей, которые не горят.

За сутки до отъезда, у входа в Голландское посольство, меня остановили два "сотрудника", продержали весь день в отделении милиции, затем сделали обыск дома — конфисковали статью Бялика "Народ и язык", псалмы Давида и пишущую машинку — но не ту, на которой Гусаров успел перепечатать повесть, — та благополучно прибыла в Израиль и стоит теперь на моем столе в Иерусалиме.

А главы из рукописи журнал предлагает вниманию читателей.

Светлана Шенбрунн

Владимир ГУСАРОВ

МОЙ ПАПА УБИЛ МИХОЭЛСА...



ПРОЛОГ

В одиннадцать часов вечера — звонок. Пришел участковый Иван Чернявский: "Откройте, у вас живет человек без прописки"... Пытаюсь отговориться через дверь, потом открываю, участковый входит с дружинником. За столом сидят два приятеля и жена, в соседней комнате спит бабка. У всех, кроме меня и девяностолетней бабушки, требуют документы.

— У вас человек живет без прописки.

— Это моя жена. Вот заявление в ЗАГС, через три дня регистрация. Вам остается извиниться, поздравить нас с законным браком и удалиться.

— Нет, пойдете в отделение, у нее нет московской прописки.

— Значит, ей на вокзале нужно дожидаться торжественной минуты?

— Пусть дожидается в Киеве, по месту прописки...

После долгих препирательств мне выписывается повестка явиться завтра с объяснениями. В отделении — то же самое: Чернявский сует какие-то параграфы, требует письменного объяснения, затем долго беседует с женой. Жду час, два.

Входят два санитар, выворачивают карманы, зверски затыгивают руки за спиной, с ожесточением заталкивают в психовоз с красным крестом, хотя я не сопротивляюсь ни словом, ни движением.

Пьяный татарин, загадочная девица, какая-то бабуся с надменным птичьим ликом, выкрикивающая несуразности, — ни у кого руки не связаны, только у меня.

Еле держащийся на ногах татарин сует мне в рот папироску, зажигает, я прошу его ослабить веревку — очень больно рукам, но санитар не разрешает.

Девица полна нежности ко мне: называет меня сыном, обнажает грудь и придвигается ко мне, снимает с себя крестик и вешает мне на шею, хотя связанный сынок годится ей в отцы, затем срывает с себя трусики и швыряет в санитаря. В конце концов и ей связывают руки, она кричит, матерится.

Помещают в 6-е отделение больницы Кашенко, дают какие-то пилюли и проверяют рот. На обходах спрашивают о здоровье, и я не выдерживаю:

— Почему вы спрашиваете о здоровье? От кого вы слышали, что я болен? От участкового? Родители и соседи не жалуются на мое здоровье! Как вам не стыдно! Вы же гиппократову клятву давали!

Мне начинают колоть что-то страшное. От уколов сохнет во рту, дышать нечем, все время хочется пить и спать. Не могу выйти на свидание — через две минуты прощаюсь. Жена плачет, мечется, но меня продолжают колоть, чтобы я учтиво отвечал на вопросы врача Владимира Михайловича.

Кончаются юбилейные торжества, посвященные 50-летию Октября, кончаются и уколы. К декабрю меня выписывают.

На станции метро "Сокол" марширует с детским ружьишком тридцатилетний дурачок Миша — высоко поднимая ноги и громко командуя. Я говорю жене:

— Я в больнице, а Миша здесь... Я занимаю его место...

О ГОМЕРЕ

Кроме дарования, Гомер превосходил меня тем, что "спорили семь городов о рождении старца Гомера". Отвечая на вопрос о месте моего рождения, могу назвать лишь три города — Царицын, Сталинград и Волгоград. Родился 15 сентября 1925 года. С пяти лет живу в Москве, в поселке Сокол, на улице Чайковского, теперь Саврасова, дом 6, квартира 3, в почти отдельной квартирке с садиком и некрашеной калиткой. Гусаров Владимир Николаевич. Русский, беспартийный, даже военнообязанный. На всякий случай пишу в анкетах, что награжден двумя медалями, хотя они давно затерялись. Одну получил за доблестный труд в Молотове (Перми), вторую за сокрушение фашистской Германии. Далее Гомера я в своем рассказе касаться не буду, лишь мимоходом упомяну Лопе де Вега и Сергея Михалкова — дабы не угнетать читателя слишком большой ученостью.

Буду доволен любым гонораром.

ОБ ОТЦЕ

Хотя мой отец и является кавалером трех или четырех орденов Ленина (и обладателем других подобных сувениров), известен он лишь в правящих кругах; широкая публика больше знакома с Геннадием Гусаровым, футболистом из "Динамо" (а может, "ЦСКА", не уверен). Отец был "хозяйном" Пермской области — с момента ее основания и до конца войны, — а затем инспектором ЦК, или, как он любил называть свою должность, "личным представителем Сталина", а с 47-го года по 50-й — первым секретарем ЦК КП Белоруссии (больше помнят его предшественника Пономаренко и пришедшего после него Патоличева).

Именно в годы правления моего отца в Минске был убит Михоэлс. Подробности этого убийства мне неизвестны. Вполне возможно, что его убил не папа, а министр МГБ Цанава,

племянник Бери, а может, и еще кто, но дело не меняется от этого. Сам я в Белоруссии никогда не бывал, мы уже не жили с отцом, но и я причастен.

До суда я не доживу, хотя мог бы представить приличное алиби: с 52-го года меня таскают по тюрьмам и сумасшедшим домам...

Мой отец ничем не хуже и не лучше тех, кто сейчас помахивает ручкой с мавзолея, или составляет "среднее звено", или уже разводит розы и пишет мемуары, или сам попал под колеса победоносного локомотива истории.

Когда я пишу об отце, я пишу о выдвиженцах 37—38-го годов. Предшественники обладали иным запасом прочности, хотя их гибель и была жалкой.

ДО СЕМНАДЦАТОГО ГОДА

Кажется, до сих пор отец пишет в анкетах: "До революции — батрак". Правда, он, как и многие другие, забывает, сколько лет ему было до революции. Гимназий они, конечно, не кончали, а бездельничать родители не позволяли — отсюда горькая батрачья доля.

Я спрашивал у бабушки, какая нужда заставляла отца батрачить, но бабка, до сих пор не освоившая законов классовой борьбы, всякий раз с недоумением отвечала:

— Что ж ему было — по улицам гойкать?

Мальчиком папа умел и напоить лошадь, и запрячь, и гусей пас, и, не будучи осведомлен в вопросах угнетения трудящихся, часто сам вызывался что-то сделать. Вначале жил у кума на харчах, стал постарше — и пахал, и боронил, и в кузнице работал, и хоть порой и тяжело было, но — во все времена подростки хотят быть как взрослые, а других взрослых, кроме крестьян и ремесленников, видеть ему не приходилось. Пионерских лагерей тогда не было, что верно, то верно. Иногда трудился за одни харчи, иногда пудик муки получит — бабка бедная вдова, отца своего папа и не видел, дома своего не

имели, однако, схоронив мужа, бабка на восемь месяцев отправилась паломницей в Палестину, оставив ребенка на деду — гробовщика и горького пьяницу.

По отцовской линии все у нас в роду были неграмотны, а бабка, "хохлушка", урожденная Осьмак, кончила три класса приходской школы. В этой же школе она работала уборщицей, а когда брат-учитель запивал, то и учительницей. Свекру она красила гробы, снимала мерку с покойников, даже в рифму эпитафии писала, но главное, шила.

Отца ждало ремесло столяра, или жестянщика, или того же гробовщика, в самом лучшем случае, он мог стать сельским учителем, как дядя Георгий Петрович, по совместительству старшина малороссийской любительской труппы. В австрийском плену дядя учил пению детей офицеров.

И у отца был приятный голос, пел он — вначале в церковном хоре на левом клиросе, затем в Красной Армии, в кавалерии, где был запевалой.

Моя мама в детстве усердно молилась и постилась до обмороков. После революции перестроилась и повелела иконы в доме убрать, а сама с головой ушла в комсомольскую и пионерскую работу. В дальнейшем кончила три института и раз десять законспектировала "Краткий курс", добросовестно перечитывая каждый раз с начала и до конца. Любовь Фомина Жаворонкова, жена министра, за полгода до маминой смерти принесла ей почитать "Секретаря обкома" Кочетова, я же, запамятовав, чья книга, отдал ее отцу (он был незадолго перед тем секретарем тульского обкома), потом спрашивал его. Говорит, прочел, понравилось, а по глазам вижу — не читал.

Сохранилась мамина фотография в шинели и папахе, я же застал ее уже за письменным столом, даже красную косынку помню смутно. Она была зав районо, директором школы, даже секретарем райкома — то ли по кадрам, то ли по пропаганде, я их всегда плохо различаю, как и партийную работу от советской.

В Сталинграде мы были соседями Поскребышева. Помню маму в каракулевой шубе, хотя она ее носила неохотно, сохраняя аскетизм 20-х годов. Отец же всегда шел в ногу с веком.

ДЕТСТВО

Рассказывают, что в грудном возрасте орал непрерывно, заговорил поздно и очень невнятно, чертя при этом в воздухе пальцем, был неусидчив, переминался с ноги на ногу, будто постоянно хотел описаться, что часто случалось во сне, чуть ли не до седьмого класса. Взгляд бегающий, застенчив, напорист.

Многие дети в раннем возрасте очень впечатлительны, но моим "букой" сделался жандарм, в воске запечатленный в музее Революции, куда отец исправно таскал меня на свою голову. Едва начав говорить, вместе со стихами о Шарике, я произносил наизусть такие вирши:

**Ганди с фабрикантами
Кается-братается,
И творит Британия
Свой кровавый суд.
Но пока по жилам
Кровь переливается.
Баррикады Индии
Знамя не сдадут!**

В 35-м году, на клубной сцене Авиационного института меня принимали в пионеры, и не было никого на свете счастливее меня и несчастнее Карлуши Агапова — его приняли позднее. У Агаповых было четыре ребенка: Владимир, Карл, Роза и Майя, а в Свердловске у начфина обкома Поспелова

рос довольно шкодливый и трусливый отпрыск по имени Интернационал (сокращенно Интер, во дворе его звали Пойнтер). Тогда бытовал анекдот: мать решила назвать дочурку Трибуной, но отец вдруг запротестовал: "Не хочу, чтобы все на нее лазали"...

Я не собирался смеяться над Трибунами, Утопиями, Лагшмидтшварями, бесконечными Вилорами, Виленами, Стал---нами и над другими приметамы эпохи. Если получается — извините.

ПЕРВЫЙ УКЛОН

В третьем классе я неожиданно включился в активную антисоветскую деятельность. В Первой ударной школе, в Чапаевском переулке, наряду с хороводами-стенками "Бояре, а мы к вам пришли" или "... а мы просо сеяли-сеяли", еще в нолевке я слышал такую дразнилку:

**Ленин, Троцкий и Чапай
Ехали на лодке.
Ленин, Троцкий утонул,
Кто остался в лодке?**

Если кто отвечал: Чапай, его принимались щипать — щипай! щипай! Я поинтересовался у товарища: "Кто такой Троцкий?" — "Матрос". В лодке явно не хватало матроса. Частушка засела в голове, и, спустя два года, уже в 48-й школе на улице Врубеля, на уроке рисования я решил похвастаться своей эрудицией, изобразив октябрьскую баррикаду, над которой развевались три знамени — на одном была надпись: "Да здравствует Ленин!", на другом: "Да здравствует Троцкий!" — на третьем здоровствовал Чапай.

Отца вызвали в школу, показали рисунок и тут же разорвали — уже был убит Киров. Дома отец испуганно смотрел на меня и пытался осторожно выяснить, каким источником я пользовался для воплощения темы Октября.

Хода этому криминальному делу не дали, и я спал ночь спокойно. Как отец — не знаю. Паутина моей провокационной деятельности начинала сплетаться.

ЖАЛОСТЬ

Какой-то пролетарий из барака напротив прибил топором мою собаку Джимку — укусила она его, что ли. А бабушка — которая тоже народ — удушила окровавленную собаку на высокой зеленой ограде сада. У меня был грифель и черная тетрадь, в которой я обычно рисовал и писал: "Точка, точка, запятая, минус — рожица кривая" и т. д. Я не видел гибели

Джимки, но, узнав о ее кончине, плакал, спрятавшись ото всех, и писал белым грифелем: "Положив свои белые лапки..." — и еще пуще заливался слезами. Так же горько я оплакивал Кирова, а прочитав последнее слово Бухарина, носил в себе какую-то смутную тяжесть (я никому об этом не рассказывал — не потому что знал, что жалеть его не положено, а просто стыдился, да и родители были далеко, в Казахстане).

Бабушка пыталась воспитывать меня с понятием о Боге, но это было делом безнадежным — я твердо знал, что Бога нет, и, если просил перед сном о нем рассказать, так только чтобы она подольше не тушила свет.

Я тяжело переживал московские процессы, невыносима была мысль о неизбежной гибели подсудимых — ведь они же признались, обещали исправиться!.. Я сам сколько раздавал подобные обещания, и меня прощали... А может быть, троцкистам объявят, что их помиловали, а потом незаметно выстрелят из какой-нибудь дырки в стене, когда они будут спать, чтобы им не было страшно... А может, совсем не расстреляют — спустят в подземелье и будут кормить пирожными, конфетами, апельсинами, грушами. И Сталин потихоньку будет приходить к ним и будет советоваться с ними, и они вместе будут пить чай со всякими вкусными вещами, смотреть кино, только чтобы никто не знал, что они живы...

В "Правде" писали:

**У Гимmlера сегодня в сердце ранка,
И жалости полна фашистская охранка.**

Не отдавая себе в том отчета, я попал в компанию к Гимmlеру.

Наша страна самая лучшая, самая справедливая, у нас нет буржуев, и бедных почти что нет, хоть еще и не все живут одинаково...

У хромого Володьки Неделина забрали отца, героя гражданской и недавнего участника испанской войны. Много лет спустя, при реабилитациях, семья узнала, что с обыском к ним пришли уже после того, как он был расстрелян... И я вспоминал, как Володька хвастал, что на перилах их балкона

делал стойку командарм Якир. (А может, и приврал о балконе, недаром его теперь охотно печатают и "Литературка", и "Иностранка".)

С Лейпцигским процессом я познакомился, едва научившись читать. Помню и папанинцев, и полет Леваневского, о котором радио внезапно перестало говорить. Джазы Утесова и Цфасмана, тайное обожание польского революционера Домбровского, модные песенки "Скажите, девушки", "Сулико" (анекдот даже был: мужчина на пляже заигрывает с грузиночкой, дело доходит до формального знакомства, она представляется: "Сулико". — "Сулико? Лежишь тут блядую, когда тебя вся страна ищет?!")

ВСЯ СТРАНА

П р и б ы в из Казахстана, отец повел меня на торжественное собрание в Большой театр, посвященное 20-летию НКВД. Он был приглашен вместе с директором Московского авиационного института Беляевым. Мы опоздали, пришлось сесть на галерке, зато концерт потом смотрели из десятого ряда. Доклад читал А. Микоян, одетый в темную кавказскую рубашку с поясом. Слов я разобрать не мог, наверно, из-за того, что говорил он с сильным акцентом. Сталина в президиуме не было, Буденный появился с большим опозданием, и заседание было прервано овациями, какая-то женщина даже что-то прокричала. Потом снова вспыхнули овации — это Сталин возник в ложе — и не прекратились, пока он не скрылся. Но, пожалуй, самые бурные приветствия достались "любимому сталинскому наркомму" Ежову. Ежов стоял потупившись — густая черная копна волос — и застенчиво улыбался, словно не был уверен, заслуживает ли он таких восторгов.

Потом в концерте Образцов показал "Хабанеру", "Налей бокал" и что-то еще. Пели "Метелицу" и ту же "Сулико", вторым отделением выступал сводный певческий полк комбрига Александрова.

Много позднее я узнал, что Микоян на этом вечере назвал НКВД организацией, "наиболее близкой партии по духу",

но тогда я этого попросту не расслышал, да и вообще доклад не шел ни в какое сравнение с "Калинкой-малинкой".

Во время концерта Сталин опять обозначился в глубине ложи (пели грузинские песни), номер пришлось прервать: зал аплодировал и кричал, пока вождь не исчез.

РАЗДУМЬЯ

С любым вопросом, при любом недоразумении — даже если трамвай сходил с рельс — обращались к авторитету Сталина, он самый главный. Еще дошкольником, гуляя с папой, я пытался уяснить себе структуру общества:

— Кто главнее — Молотов или Калинин?

Отец объяснял долго и непонятно, и я опять спрашивал:

— А кто главнее — Ворошилов или Молотов?

Бедный папа!

Однажды, внушая мне, что нехорошо таскать сахар из буфета, отец закончил свою речь фразой:

— Как ты на это реагируешь?

Я еще плохо говорил, но "отреагировал":

— Я не слушаю...

Теперь отец частенько, увлекшись, начинает называть меня на "вы" — будто на партийной конференции выступает...

Однажды к бабушке пригласили профессора для консультации (через два года ей стукнет девяносто, но, сколько я помню, она всегда считалась при смерти). Профессора привезли на директорской машине и после, в передней у вешалки, сунули ему не то 50, не то 100 рублей. И долго потом говорили не о медицинских советах знаменитости, а об этих деньгах. Деньги и вправду были для нас большие, но боюсь, что в других семьях такая сумма казалась вообще сказочным состоянием — те, кому хватало на молоко и масло для детей, считались сверхобеспеченными; пирожное, даже в нашем доме, было настоящим праздником, а уж конфеты и апельсины ели только буржуи.

Между тем я знал, что где-то возле Аэропорта есть просмотровый зал, где бесплатно показывают кино и стоит стол

с апельсинами и пирожными, подают чай с лимоном и конфетами (сладкую жизнь для осужденных Бухарина и Каменева я придумывал, наслушавшись об этой роскоши). Бесплатные пирожные как-то не вязались с голодным обмороком, случившимся у рабочего Василия, и с карточной системой, и с тридцатью тысячами недоедающих, о которых я прочел в газете. И совсем не задумываться об этом как-то не получалось.

О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Кроме политических забот существовали еще и другие: цари, рыцари, "Человек-невидимка", которого я боялся, инженер Гарин с его гиперболоидом и, конечно, постыдная и жгучая тема полов.

Славка очень подробно проинструктировал меня, и я проделывал под одеялом то же, что и большинство мальчишек, но не имея для этого никаких физиологических предпосылок.

Пока отец не стал первым коммунистом Пермской области, у нас постоянно останавливались его друзья: круглолицый, черный Саша Аракелян (он как-то привез кожаный бурдюк с вином), уполномоченный НКВД Виктор Васильевич Давыдов, подаривший мне "Девяносто третий год" Гюго в иллюстрированном детском издании, до сих пор помню: Симурден, Говэн... Однажды Давыдов приехал с молодой женой Ритой, и родители уступили им свою кровать. Я услышал звуки, каких прежде никогда не слышал — был однажды случай, что родители подрались ночью, вернее, мама побила пьяного отца, но такого... нет, никогда не было. Да ведь это то самое, чем хвастаются ребята. Они говорят, что делают это с самыми симпатичными и неприступными девчонками из класса... (Еще в 1-й ударной школе был педологический кабинет, и медицинский тоже, там мальчикам задавали вопрос: "Девочек портил?" Красивый, матово-бледный Олег Дубровин, по собственному признанию, ответил: "А как же!" А нам уточнил: "Два раза". Другие утверждали, что у них это случилось и четыре, и даже пять раз...)

Ни в одной школе никогда я не видел таких красивых девочек, как в нашей московской. Слепительно хороша была Эдда Таракьян, мало уступали ей Майя Орлова и Фая Фискинд, и совсем не уступала чешка Неля Крживанек. Однажды, бегая по улице, я вдруг увидел маленький, но совсем как взрослый велосипед "Украина", поднял глаза выше — на велосипеде сидела в сереньком халатике Нина Анисимова, отличница из нашего класса, жила она в семнадцатом корпусе домов НКВД.

Велосипед был такой, что его хотелось чистить, смазывать, хранить, оберегать — в общем, иметь. Поскольку он был неразделим с его наездницей, то пусть и она всегда будет при нем. Он будет стоять в комнате, а она... Ведь спят же папа с мамой... Я буду сдерживать дыхание, тихо целовать ее и нежно прижиматься — очень осторожно, чтобы не разбудить... Господи! Если ты есть, сделай так, чтобы Нина Анисимова стала моей женой!.. Детей, конечно, у нас не будет, лучше будет много игрушек и одинаковые велосипеды. Всякие гадости, как делают взрослые, мы делать не будем — мало ли что это считается необходимым и даже приятным, но как же я смогу после этого любить ее? Обойдемся без детей и без этих гадостей, я буду ее обнимать и целовать, и сердце мое будет так же сладко замирать, как сейчас, когда я обнимаю и прижимаю к себе подушку, как будто это Нина — тихая, пепельная, с таким аппетитным "ш"... А вечерами мы будем кататься по бору на одинаковых велосипедах, у меня мужской, с прямой рамой, у нее женский, с выгнутой. Если бы можно было уже сейчас ехать рядом — у меня правая рука на руле, у нее левая, а свободные вместе, ее ручка в моей...

В журнале "Костер" я прочел повесть "В лагере". Мальчик поцеловал девочку (а может, наоборот), и они тут же разбежались в разные стороны, а наутро уехали и расстались навсегда. Нет, они должны были ждать (ждать почему-то необходимо), но зато потом уже не расставаться, пока врачи не изобретут бессмертия.

Детская мучительная постыдная и тайная тайна заполняла все мое существо и терзала ежедневно, а Нина Анисимова —

пепельная фея — неслась на двухколесной "Украине" и знать не знала, что я знаю...

ЧЕРНЫЙ КОТ КАБАКОВА

От казахских баранов отца почти без перехода взяли в ЦК и весной 38-го года в составе группы А.А. Андреева избрали третьим секретарем свердловского обкома. Трудящиеся Надеждинска одновременно избрали его депутатом Верховного Совета РСФСР. Отец уехал, а мы с мамой заканчивали учебный год (она была заведующей районным отделом народного образования), потом мы поехали к отцу, и нас сразу же повезли на дачу в двух километрах от сказочного, колдовского озера Балтым.

У первого секретаря обкома Валухина была отдельная дача, у председателя облисполкома Семенова тоже отдельная, а "второй" и "третий" — Медведев и Гусаров — помещались вдвоем.

Километрах в десяти от наших дач стояли дачи НКВД. Оттуда несколько раз приезжали гости: Викторов и Варшавский, без семей и всегда "на взводе", это замечал даже я, тринадцатилетний мальчишка. Помню, как они сидят за столом — толстый черный Викторов называет Варшавского своим учеником, а тот, рыжий и обрюзгший, беспомощно улыбается и засыпает.

Однажды Валухин ушел на охоту и пропал — одну ночь не вернулся, другую. Не знаю, были ли тогда телохранители или нет, но милицейские посты в подъездах были точно, не говоря уж об охране дач. Явился Викторов и принялся страшно орать на охранника, открывавшего и закрывавшего ворота:

— Вас тут вместо стенок поставили, е... вашу мать!

Полуштатский привратник тянулся и ел глазами темпераментного начальника с ромбом в петлице, а тот все возвышал голос, выкрикивая одну и ту же фразу:

— Ты здесь вместо стенки поставлен! (и снова мат).

В детстве меня мат ужасал, особенно стыдно было слушать при родителях, но тут я понимал — случилось что-то самое главное в жизни, наверно, связанное с происками таинственных врагов, тут и ругань уместна. Валухин в конце концов вернулся цел-невредим и приволок не то лося, не то косылу, бок у нее был изодран, вытерт. Сам он похудел, зарос. Тушу свежевали возле кухни без него.

Валухин был моим партнером по шахматам. Играл он слабо, с шахматной литературой не был знаком даже по обложкам — я в то время уже листал Майзелиса и только что получил билет 4-го разряда с автографом Рюмина, — но Константин Сергеевич давил меня пешками, как Филидор. Я то и дело предлагал сыграть, и он никогда не отказывался.

Осенью я поступил в 6-й класс. Девочки Урала поразили меня своей бесцветностью и непривлекательностью, и вообще школа (где я учился из рук вон плохо) мало запомнилась.

Дворец пионеров в Свердловске стоял напротив дома, в подвале которого была расстреляна царская семья (включая детей). "Дом-музей" я не посетил ни разу, а во Дворец ходил играть в шахматы.

Поздней осенью до моих ушей дошла новость, что начальника НКВД Викторова расстреляли, а его "ученику" дали 25 лет. А может, наоборот.

Я спросил:

— За что?

— Варшавский до революции был бундовцем, а Виктор об этом знал, но от партии скрыл.

— А-а-а!.. Тогда конечно, — протянул я понимающе и отправился во Дворец пионеров.

Той же осенью папу назначили первым секретарем вновь созданной Пермской области, они с Валухиным спорили за бильярдом, чья область лучше.

— Мотовилиха не меньше Уралмаша!

— Да там одни бабы работают!

Валухинская область действительно была получше, но недолго он радовался — его сняли. Узнав об этом, я отпра-

вился к нему на третий этаж. Дверь открыл он сам, небритый и осунувшийся, как после давешней охоты. В квартире пахло горелой бумагой. Родственники исчезли, хотя несколько дней назад, когда я заходил за пропуском в театр, все семейство было на месте. Я предложил сыграть партию, он и на этот раз не отказался, я проиграл, и ушел, и больше никогда Валухина не видел.

Мама не стала ругать меня за этот визит, даже не упрекнула. Много позднее, уже в хрущевские времена, она приняла, и весьма уважительно, выселенного из Москвы Шепилова.

У Медведевых был черный кот Арсик, каждую неделю его возили на дачу, он спокойно спал всю дорогу. Прежде этот кот принадлежал семье Кабакова — делегата всех съездов. Кабакова забрали, а кот перешел к новому секретарю Столяру, который тоже вскоре сгинул. Валухин от "наследственного" кота отказался, и тот достался Медведеву, "второму".

Вернувшись однажды с сессии Верховного Совета СССР, отец сказал матери:

— Знаешь, кого я встретил среди депутатов?

— Кого?

— Валухина! Знаешь, кто он теперь? Директор свиноводческого совхоза!

Валухин был награжден золотым оружием за гражданскую и еще в те времена был кавалером ордена Ленина, но теперь приходилось радоваться, что он жив и работает директором захудалого совхоза. Правильно сделал, что отказался от кота! Правда, что случилось с Медведевым, я не знаю, никто никогда о нем не упоминал.

Нового секретаря Андрианова я видел лишь мельком, запомнил только потертый каракулевый воротник.

Однажды еще летом мы посетили пустовавшую дачу Кабакова, находилась она на необитаемом острове посреди озера, вокруг плавали дикие лебеди, а проехать можно было только на газике. В роскошном двухэтажном особняке была специальная бильярдная зала — не то что у Валухина, какой-то один бильярдный стол! За домом имела масса подсобных помещений, но все стояло заброшенное...

Под Новый, 39-й год мы выехали в Пермь — в отдельном вагоне, везя с собой фикус, пальму, три чемодана и бабушку Машу.

ПЕРМЬ, ОНА ЖЕ МОЛОТОВ

В Перми мы поселились не в гостинице, а сразу в Доме чекистов, на пятом этаже, в пяти, только что отремонтированных комнатах. Долго пахло краской, сторона была несолнечная. В подъезде специально из-за отца поставили милицкий пост. Хотя здесь "дома были пониже, а асфальт пожире", чем в Свердловске, зато в Перми папа был самым главным.

В Перми жил и благополучно скончался герой гражданской войны Акулов. Его именем названа центральная площадь города. Еще был какой-то Легоцкий, оказавшийся врагом народа буквально в ночь перед выборами — срочно пришлось расклеивать новые листки с портретом Викторова. Спустя год Викторов последовал за Легоцким, и кандидатом стал мой папа, благополучно "оправдавший доверие избирателей", ибо он принадлежал к новому поколению и не принимал никакого участия в страстях революции и гражданской войны. Папа, например, очень удивился, когда я лет пятнадцать тому назад назвал Троцкого создателем Красной Армии. Когда он служил, имя Троцкого из устава уже было изъято.

Возможно, в Москве были выше требования, но в Перми я учился гораздо лучше. Скорее всего, мне просто не решались ставить двойки — по политическим соображениям. Учительница немецкого языка Киселева прямо-таки восхищалась моим произношением. (В Москве немецкий нам преподавала Лина Петровна Кепе, никто не сомневался, что она настоящая немка, и лишь, когда началась война, выяснилось, что она эстонка. Правда, и народный артист республики Борис Юльевич Оленин, до войны писавшийся немцем, должен был долго и обстоятельно объяснять где следует, что никакой он не немец, что его родитель просто принял

в свое время лютеранство и, таким образом, он то, что в России называлось "выкрест".)

В Перми я получил возможность чаще видеть своего могущественного папу, и медленно-медленно в душу мою стало закрадываться сомнение — чем же он так замечателен, отчего подчиненные так восторгаются им? Дома восторгаться было вроде бы нечем: отец часто пил, в нетрезвом виде подолгу гонялся за кошкой, требуя, чтобы ее положили ему в постель, что бесило маму, и издавал непристойные звуки.

ОН И ОНА

Родители были красивы. Я тоже вроде не урод, но, если судить по фотографиям, уступаю обоим. Уступаю я им и во многом другом — в настойчивости, в умении жить, что поделяешь — судьба единственного ребенка из привилегированной семьи... Отец — рубаха-парень, душа общества, заводила, хвостун и фантазер. Мама — замкнутый, настороженный, педантичный человек. Полностью я не унаследовал качеств ни того, ни другой.

Возможно, они и физически не подходили друг другу. Мама как-то жаловалась, уже после войны, моей подружке Жене Васильевых: "Ты его обнимаешь, а он лежит как бревно..." Отец же в свою очередь рассказывал мне: "Чего она от меня хочет? Даже жеребец, и тот сначала поиграет, а потом только... А она ходит как мумия, ко всем ревнует, вечно слезку устраивает — где моя машина стоит, а еще после этого хочет, чтобы я ее обнимал".

С раннего детства меня пытали обе стороны: "С кем ты хочешь жить?" Я отвечал всегда одинаково: "С тобой и с папой". (Или: "с тобой и с мамой", в зависимости от того, кто спросит.) Однажды, гуляя с мамой в сосновом бору, я неожиданно сказал: "Мамочка, люби папу!" — и уже принятое (по ее словам) решение было отброшено.

Сам уклад жизни был таков, что даже в театре он должен был появляться в окружении "соратников". Была ли жена у Сталина, никто не знал, если он являлся народу, то только окруженный соратниками и неизвестными штатскими. Прихо-

дилось выдерживать этот стиль и секретарям обкомов, крайкомов и ЦК республик. Отец ходил в полувоенном костюме, в фуражке-сталинке, только усов не носил, как, впрочем, и остальные.

Когда в Москве Литвинов, а затем и Молотов появились на трибуне в шляпах, все были шокированы, правда, быстро догадались, что это по дипломатическим соображениям — чтобы усыпить бдительность мировой буржуазии. Но в провинции такую идеологическую неустойчивость мог себе позволить лишь крупный профессор, да и то беспартийный.

Итак, мы с мамой сидели в партере, в первом ряду, а отец в левой обкомовской ложе, откуда смотреть было не так удобно, но там его не могла достать рука "врага народа".

В гостях отец тоже предпочитал бывать один — подальше от ревнивого и критического взгляда матери. Не помню, чтобы и дома они вели какие-нибудь беседы.

ТЕАТР

Мне случалось бывать в театре и в Москве, но либо по школьной программе, либо по случайной родительской инициативе. Слепой, который пел под гитару "Соколовский хор у Яра" в Арбатском дворе, произвел на меня впечатление несравненно более сильное, чем спектакль детского театра "Эмиль и его товарищи", на который папа по ошибке сводил меня два раза. Театральное представление от клубного я мог отличить лишь по деньгам, отпускаясь на мороженое.

Сладким ядом театра я стал регулярно травиться уже в Свердловске и Перми (семьи ответственных работников проходили бесплатно, это правило распространялось и на кинотеатры). В Свердловске я услышал впервые "Фауста" Гуно — вынужден признаться, что Гете я не раскрывал ни разу и по сей день. "Евгения Онегина" знаю тоже по опере Чайковского, а не по Пушкину. Но гораздо больше нравились мне "Сильва" и "Роз-Мари" в Свердловской музкомедии с несравненным — как там говорили — комиком Дыбчо и

героями Виксом и Высоцким. Один раз я даже сполз от смеха со стула на пол — благо сидел в первом ряду. Артисты, знавшие Дыбчо, рассказывают, что он и партнера мог довести до полной потери самообладания. У Ярона физиономия, может быть, и достаточно глупая, и смешная, но у Дыбчо вид был настолько замогильно-серьезный, что это доводило до коллик. (Говорили, что в жизни он, как и Зощенко, был меланхоликом.)

Постепенно мне посчастливилось поднабраться кой-какой духовной культуры. Что-то в душе развивалось, не стараниями семьи и школы (школу до сих пор не могу вспомнить без отвращения) и даже не под влиянием литературы (тут, очевидно, тоже нужен руководитель, а подле меня не было неграмотного повара Смурого, влюбленного в книгу. Я читал "Как закалялась сталь", но ее нельзя читать без конца). Музыка тоже не оказала на меня сколько-нибудь заметного благотворного влияния, хотя отец любил петь, особенно частушки. Вот его любимая:

**С неба звездочка упала
Прямо на нос петушку —
Петушку неловко стало.
Он вскричал ку-ку-реку!**

И дальше припев:

**Что ты, что ты, что ты, что ты!..
Я солдат девятой роты!**

Так что моим воспитателем стал театр, на посещения которого к тому же и денег не требовалось, даже если бы я не ходил, наши места все равно пустовали бы. (Мимоходом замечу, что материальный уровень нашей семьи настолько возрос, что о какой бы то ни было экономии не вспоминали.)

Первым "небожителем", которого я мог видеть вблизи был артист вятского, а затем пермского драмтеатра, ныне народный артист Грузинской республики, Иван Николаевич Русинов, теще Московской филармонии. Он и сейчас удивительно красив, а лет 35 тому, мог соперничать с Аполло-

ном. Классический герой, он был бы украшением лучшей московской сцены, если бы не родился сыном Павло-Посадского священника, за что не раз подвергался репрессиям — ибо "сын за отца не ответчик". Уже после войны, работая в Малом театре, он получил пять лет ссылки (нужно знать тогдашние сроки, чтобы не усомниться — Ваня просто не донес на кого-то, на кого должен был донести, потому что анекдот, рассказанный тобой самим, весил уже десять лет, и не ссылки, а лагеря).

"Собаку на сене" с Русиновым в роли Теодоро я выучил почти наизусть, не пропуская, по возможности, ни одного спектакля. "Собака на сене" не делает особой чести моему вкусу, но по сравнению с "Сильвой" это был уже немалый прогресс.

При Доме пионеров открылся кружок художественного слова. Узнав, что им будет руководить Русинов, пошел туда и я — вместе с бойкими пионерскими исполнителями "партины" — и потянул за собой отличника из нашего класса Павлика Седых. У Паши я списывал контрольные, он подсказывал мне на уроках, но я уже был авторитетом по части шахмат и изящных искусств. Павлик жил вдвоем с бабушкой, а живы ли его родители, они не знали. Он о них никогда не вспоминал.

Русинов был для меня солнцем на небе: всегда праздничный, подтянутый, и я подражал ему как мог, в походке, в одежде, в выражении лица, в единственно верных интонациях.

А что он читал? Читал то, что требуется, хотя попадались и Пушкин, и Гоголь. Применимо ли к артисту-исполнителю — "жить не по лжи"? Если ты сегодня играешь Чацкого, а завтра тебе предложено исполнить парторга или передовика производства, так ведь и ты на производстве, в штате, и не можешь сказать, что не будешь играть по нравственным соображениям. Можно не лезть со своей "инициативой", как это делают многие писатели, можно не носиться, не "болеть" за образ коммунистического риторика, но отказаться — нельзя.

И я под руководством Русинова читал по радио "В сто сорок солнц", "Товарищу Нетте" (ну, тут еще ладно — все-

таки погиб служащий при исполнении обязанностей) и прочую галиматью, как до сих пор Иван Николаевич читает Сергея Васильева.

Летом Русинов уехал в Ростов-на-Дону, к Завадскому, а я, проводив первого учителя, от навалившейся тоски бросился в воду и два раза переплыл Каму, все время бессмысленно повторяя строчки его монолога:

**"В такой потере горя мало,
Теряют больше иногда!"**

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Начало войны ознаменовалось для нас тем, что мы с Колькой Чернышевым шли по улице и встретили школьного стихотворца Николаева. Дружно, не сговариваясь, мы не поздоровались с "изменником" (ходили слухи, что он назвал гитлеровскую армию самой сильной в мире). Отец моего возмущения не поддержал, он не был кровожаден.

— Мало ли что можно сказать не подумав! Любят раздумывать.

Несколько позже, когда немцы приближались к Москве, я сам начал бормотать что-то о "профессионализме немецких штабов", но Чернышев дал мне резкую отповедь.

Свердловская драма свернула гастроли — народу мало. Из Киева бежал артист Шейн, прежде игравший в Свердловске Ленина, появился он с двумя чемоданами и шестой женой А. М. Чупруновой. При своем могучем телосложении она тем не менее играла инженеру в Свердловской музкомедии и говорила: "Я умлу словно саяка на зеленой лузайке, тлепыхаясь у всех на виду". В зале это вызывало бурю смеха.

Срочно стали показывать "Болотных солдат", "Профессора Мамлока". Последнюю пьесу поставили и в драме, с участием Шейна. Театр находился в Мотовилихинском дальнем районе, а трамваи ходили редко, поэтому публика ринулась к галочам не дожидаясь выстрела. Шейн опустил наган.

установился в зал и с бешенством произнес: "Хорошо, я подожду", и стоял так, пока не наступила мертвая тишина. Тогда еврей-профессор рассчитался с жизнью.

ЭВАКУИРОВАННЫЕ

Из Москвы приехала тетя Зина, там она работала секретарем Папанина, начальника Главсевморпути, а тут устроилась секретарем начальника МГБ майора Поташника. Ларису, мамину племянницу, как менее смышленную, определили на завод. Впрочем, вернувшись в Москву, она тоже пробилась в "органы", где получала в два раза больше, чем ее муж-инженер, начальник цеха, хотя ничему не училась и ничего не умела. Наша соседка Халямина хотя бы владела машинописью и стенографией. Лариса просто поздно возвращалась домой и все. Однажды в середине ноября 42 года я ночевал у нее на Покровке, и она под секретом сообщила мне, что ноябрьский военный парад отменили потому, что 6-го какой-то автоматчик на Красной площади стрелял по машине Микояна (перепутал), отстреливался и под конец подорвал себя возле памятника Минину и Пожарскому. В начале пятидесятых годов Ларису уволили из "органов" из-за глупой привычки брать фамилию мужа, а мужем ее на сей раз оказался Адольф Матвеевич Кампель.

В первые дни войны я попал в истребительный батальон при авиационном заводе, где готовили для фронта без отрыва от производства. Мне было 15 лет, я гордился батальоном и его комиссаром, нашим секретарем райкома, все время исступленно рвавшимся на фронт. Мы изучали винтовку, "Максим", ППШ, хотя это мало кому помогло, в том числе и самому комиссару...

Папа ревниво следил, чтобы я не оставался в городе, когда школьников бросали на стройки и погрузки — это в его глазах было важнее батальона, которому некого истреблять. Впрочем, и борцам с диверсиями доставалось чистить подвалы и строить бараки для беженцев.

Еще до войны классная руководительница без всяких разговоров приказала мне вступить в комсомол: "пиши заявление". С отцом я бы еще поспорил, а тут не решился. Раньше я был членом учкома, теперь стал членом комитета комсомола и едва не сделался комсоргом школы. Тут я не выдержал: я представил себе Лемкина, нашего комсорга, худого, косоглазого, с зеленоватым лицом — да разве я смогу так, как он, часами читать мораль своим товарищам? Мне сделалось так скверно, что я буквально заболел. В школе разговаривать было бесполезно, я пошел к секретарю райкома Максиму (в дальнейшем тоже дипломат) и взмолился не выбирать меня. В душе презирая, он отпустил меня с миром, и комсоргом стал Игорь Кузнецов, ладный парень, чемпион города по легкой атлетике (это он сидел на одной парте со Светланой Римской). Так что ему пришлось восклицать в положенное время: "Да здравствует товарищ Сталин!" — и получалось это у него так неловко, что оставалось только радоваться, что это делаю не я.

Я прекрасно понимал, что так надо, так принято, но сам почему-то предпочитал другую общественную работу — читать со сцены Гоголя, играть Чацкого, на худой конец, даже пленного командира, которого пытаются. Эти попытки устраивали меня больше.

Однажды в класс пришел новый историк, старичок из числа эвакуированных, и принялся так интересно рассказывать о Петровских реформах, что по окончании урока мы устроили ему овацию — не упомяну такого в школе ни до, ни после. Но очень скоро старик исчез, кто-то сказал — документы у него не в порядке. На собрании я послал из зала записку нашей директрисе М. В. Боковой: "Почему убрали Сергея Петровича?" Мария Власовна ужасно разгневалась:

"Кто послал эту хулиганскую записку?" Я промолчал. Было обидно и за себя, и за учителя. По какому праву его выгнали? Если преподаватель умеет так говорить, это лучше всяких документов...

Из Ленинграда приехал Театр оперы и балета. В Пермь эвакуировались вскоре после начала войны многие ленинградские писатели, а в конце года пожаловал Вольф Мессинг со своими психологическими опытами. "Чекистка" тетя Зина устроила мне встречу с ним. Я пришел и обомлел — на втором этаже гостиницы меня ждал загадочный человек с высоченным лбом и ликом дьявола. Я смотрел на него как загнипнотизированный. При виде Завадского я тоже испытывал трепет — лицо Завадского было словно вылеплено из слоновой кости, но то был трепет почтения, а не страха. "Дьявол" повел меня вверх и втолкнул в небольшую комнатку, где сидели два обыкновенных еврея. Один из них — маленький, суетливый, с бегающими глазками — и был Мессинг ("дьявол" оказался его администратором), другой был дирижер Кировской оперы Шерман. Шерман явно был подавлен только что состоявшимся разговором. Мессинг утешал его и говорил, что предсказывать одно хорошее неинтересно. (Через два месяца у Шермана умер отец, но, если это случилось в блокадном Ленинграде, можно было предвидеть несчастье и без особого дара.)

Шерман ушел, а Мессинг усадил меня и стал скручивать папиросу, заворачивая табак в нарезанную бумагу, явно слишком плотную для курения. Мне он тоже протянул кусок такой бумаги. "Напишите четыре двузначных числа". Я написал. Он велел зачеркнуть любые три. Я зачеркнул, ни секунды не задумываясь, в полной уверенности, что и пишу, и зачеркиваю что хочу. Одно число, скажем, 76, осталось. Мессинг предложил мне перевернуть листок, я перевернул — там его рукой было написано 76. Я глянул недоуменно и испуганно, глаза Мессинга мгновенно расширились, меня как токком дернуло. Я мысленно приказал ему снять с вешалки оперную зимнюю шапку, положить на кровать и накрыть всеми пятью подушками с двух кроватей, что он и сделал, слегка, правда, замешкавшись у вешалки.

Когда он после некоторого колебания ухватился за эту шапку, я воскликнул: "Правильно!" Он резко оборвал меня: "Я сам знаю, что правильно". Потом он

объяснил, что не понимает многих русских слов, а на вешалке были и летние, и зимние шапки, и для этой, шалыпинской, видно, у меня самого нет точного названия.

По линиям моих рук он определил, что я склонен к недоверию, независимости, причем выражал это так образно и подробно, что я был потрясен. "Вот вы смотрите на педагога, а про себя говорите: ну чему ты можешь меня научить при своей тупости?" Затем он предсказал мое будущее: "Вы станете трагическим актером с богатой внутренней жизнью, как Михоэлс". Под конец мне были обещаны многие лета.

Пока что мне 44 года — много это или мало, затрудняюсь сказать, но не думаю прожить еще долго. Как актер я вряд ли кому известен, трагические роли играл только в жизни. Что касается независимости, то она может выглядеть таковой лишь по соотношению с эпохой, в которую мне довелось жить.

Вскоре Мессинг уехал из нашего города, пообещав, что "война скоро кончится за нашей победой", и действительно, так и случилось через три с половиной года.

В июле сорок первого года лектор в клубе уверял, что через месяц-другой немецкие танки останутся без бензина, а в ноябре Сталин говорил: "Еще полгодика, годик".

После встречи с Мессингом я стал частенько бывать в комнате, где был представлен "дьяволу" — там обитал чекист С. Ф. Пивоваров, у него я познакомился с А. Д'Актилем, И. Луковским, М. Козаковым, С. Розенфельдом, композитором Л. А. Ходжа-Эйнатовым.

С. Розенфельд написал книгу "Доктор Сергеев", где изобразил моего отца, разговаривающего по прямому проводу со Сталиным. При мне отец удостоился разговора с вождем только один раз. Это было осенью, очевидно, Иосифу Виссарионовичу не спалось. Он сказал: "В ваших руках судьба Москвы". Остаток ночи отец не мог успокоиться — ходил до утра по квартире в подштанниках и повторял услышанное.

Дважды я встречался и разговаривал с Кавериним, но с перечисленной богемой он близок не был, хотя и враждебен ей не был, как, например, М. Слонимский.

Особенно бросалась в глаза даровитость Д'Актиля, он сочинял стихи на ходу, за чашкой чая, и тут же забывал их, записывая лишь те, которые давали хлеб насущный. Как-то при мне Пивоваров подарил ему коробку папирос, Анатолий Адольфович тут же принялся декламировать:

Закуриваю сладостный "Зефир"
 Дым тает в воздухе,
 И кажется, что таю
 И я с ним вместе...
 Долгожданный мир
 Нисходит на душу
 Я обоняю розы, я мечтаю,
 Я весь в далеком... Я Вильям Шекспир...

Дальше не помню, стихотворение вертелось вокруг папирос и щедрого дарителя. До сих пор можно услышать "Марш энтузиастов", наверняка написанный где-нибудь впопыхах на подоконнике; когда-то были популярны песни из фильма "Моя любовь", джазовый "Пароход", добрая половина утесовских текстов написана Д'Актилем, известен он и как переводчик.

Умер он в одночасье осенью сорок второго года в Перми. Возможно, и обстоятельства виной тому, что настоящего поэта из него не вышло, однако блокадники еще помнят щиты с его четверостишиями:

Не отдадим фашистам Ленинграда,
 Ни площадей, ни скверов, ни палат!
 Ни Пушкиным прославленного сада.
 Ни возведенных Росси колоннад!

Мне удавалось, и довольно часто, играть в сеансах с Ботвинником, а один раз я даже сделал ничью — он давал сеанс на 17 досках. Эта ничья была единственная и последняя партия сеанса, разменный вариант испанской партии. В общении Ботвинник напоминал Каверина — рационализированное поведение, разговоры о труде ("гений на 99% состоит из потения" и т. д.). Жена Ботвинника, Гаяне Давидовна, танцевала в кордебалете, была она женщиной выдающейся красо-



Первый секретарь ЦК КП Белоруссии
 Николай Петрович Гусаров и...

его сын, актер Володя Гусаров, в
 роли юного Ленина.



ты и безграничной преданности,— последнее, как подсказывает мне мой личный опыт, не так часто встречается у армянков...

Болтаясь среди ленинградцев, я впервые услышал о Гумилеве и тогда же впервые прочел "Письмо незнакомки" Цвейга. Открыл книгу я просто так — весь день я таскал доски, и теперь строчки плясали у меня перед глазами, — а закрыл среди ночи, потрясенный.

Общение с писателями и композиторами, конечно, не могло довести до добра. Гуляя с отцом по берегу Камы — в кои-то веки! — я вдруг истерически на него накричал, обозвал невеждой и убежал. В другой раз у нас возник диспут о Ленине — оба мы знали его сочинения только понаслышке, но я нагло ссылался на авторитет основателя; отец был убежден, что Ленин такого сказать не мог, я заскандалил, потом оба долго дулись, до самого моего ухода на фронт. Кто был прав, осталось невыясненным, теперь уже и не помню, о чем был спор.

КОМИССАР ЗАВИРОХИН

В батальоне все держалось на комиссаре Завирохине, ведь бойцы работали на заводе по 12 часов. Я не раз замирал от страха, когда тщедушный секретарь райкома выдавал мат. (Вымышленных имен и фамилий у меня нет, это я говорю на всякий случай любителям аллегорий и ассоциаций.) Никто не сомневался, что Завирохин первым бросится в любое пекло. Маленький, худенький, он первым летел на лыжах, первым топал в походах, да и к ночи не всегда топал домой. Есть такие люди. Сейчас я дружу с Володей Гершуни — если его не убьют и не сгноят в тюрьме, то он, я уверен, умрет на ходу, на бегу — кувырк и готов!..

Завирохин был невежествен, груб; читая в оперном театре очередную приветственную телеграмму, он закончил: "Смерть немецко-фашистским варварам!" Когда в зале загудели и засмеялись, он сверился с текстом и повторил точно так же. Из президиума махнули — валяй дальше, после объясним!

Беспощаден он был, невзирая на лица. Когда мать решила уйти из райкома в школу, он злобно ее обматерил, а на мою маму и отец не решался повисить голос.

Время от времени Завирохин выстраивал нас и командовал: "Желающие на фронт — два шага вперед!" — и распекал несчастных, не сделавших двух шагов. Сам он засыпал всех рапортами и письмами с просьбами об отправке на фронт (где такого фанатика-смертника могло спасти разве что чудо. Чуда не случилось). От окружающих он требовал, чтобы все как один были как Дзержинский и комиссары гражданской — никак не меньше. Под его командованием я часами шагал в строю, два раза нас водили на стрельбы в обком, где отец запевал:

**Слушай, рабочий,
Война началась.
Бросай свое дело,
В поход собирайся!**

Строй подхватывал обещание "умереть как один", и хотя отец помнил всего два куплета, но его хрипловатый тенор никому не надоедал.

В батальоне были отслужившие, они пели "В гавани", "Три танкиста", "Если завтра война", где на моей памяти слова "и железной рукой нас к победе ведет Ворошилов" изменили, втиснув в текст и нового наркома:

**С нами Сталин родной,
Тимошенко — герой,
С нами друг боевой — Ворошилов!**

Так, еще до войны, стихотворцы оттяпали Ворошилову железную руку.

ДРУГ БОЕВОЙ

Перед майскими праздниками 42-го года я проснулся утром, как обычно, спрыгнул на пол, но обычного стука босых ног о линолеум не последовало — перед моим диваном лежал ковер. "Что это?" — спросил я удивившись. "Тс-с-с!.. Тише! Это отец с матерью тут спали — в спальне Ворошилов!"

Никто такого визита не ждал и не готовился, но Ворошилову, видно, надоело ночевать в вагоне. Утром я его не видел, ушел в школу, но он пожаловал к обеду — лицо почти шоколадного цвета, на портреты не похож. Сопровождали его два рослых, немолодых полковника и заспанный комбриг с ромбом, как у нашего Поташника. Адьютанты гвардейской выправкой напоминали денщиков, а Сахаров — телохранителя, хотя и носил ромб, что соответствовало генерал-майору. Он следил, чтобы Ворошилова не убили, а главное, не отравили — бабки наготовили яств, но их запретили подавать к столу, из ресторана были доставлены особые кушанья, и стоило Ворошилову нацелиться на какое-нибудь блюдо, как туда мгновенно втыкалась вилка Сахарова, обязанного умереть прежде маршала.

К концу обеда все совершенно осоловели, восторженно улыбались и готовы были задремать, а маршал, наоборот, как бы протрезвел и приободрился — он пришел усталый, несколько часов носился по вагонам и распекал офицеров всех рангов — могильщики! Не научили солдат окапываться и маскироваться, как положено! Теперь его взгляд становился все тверже, яснее, и на лице появилось вовсе несвойственная пьяным презрительно-ироническая гримаса.

Разговаривать экс-наркому было не с кем и не о чем, но положение спасала баба Феня да я грешный. Бабку он спрашивал:

— Чи не забува ще українську мову?

— Ни, не забува!

— А сын?

— Ты какой же вин хохол? Вин перевертень! — и так далее.

Я рассуждал на более серьезные темы:

— Сколько вы не посылайте Батурина в Италию, Шаляпина из него все равно не выйдет! — и напоминал, что Шаляпин мог краснеть и бледнеть по ходу действия, а это не всякому драматическому актеру дано.

— Ну и что? — отвечал Ворошилов. — Так, значит, сидеть сложа руки в ожидании гения? И Шаляпин много трудился!

Я-то знаю, сам видел! — и рассказал, как, усердно трудясь, Шаляпин выпивал перед спектаклем стакан водки. — Ты вот у бабушки спроси: досталась ей в жизни хоть одна копейка даром?

В пылу спора мы стали орать друг на друга; Ворошилов сорвался с места, подскочил ко мне и принялся тузить кулаками, я ответил ему тем же, он не обиделся и еще несколько раз подбегал — то обнять, то пихнуть меня в сердцах.

С адъютантами я разделался в шахматы в один миг, но сам маршал играть отказался.

— Будешь потом всю жизнь хвалиться — у Ворошилова выиграл! — для всей жизни такой чести, пожалуй, маловато, Ворошилов — это не Ботвинник.

Вечером мариинцы-кировцы устроили в честь маршала концерт, мне пришлось идти со своим батальоном в патруль — охранять высокого гостя, а если бы не это, то я наверняка бы в качестве лучшего друга сидел на концерте с ним рядом.

На следующее утро я стал проситься на фронт, но Ворошилов моего порыва не поддержал и сказал, что отец правильно делает, что не пускает.

— Я вот Тимура Фрунзе отпустил, знал, что больше недели он не повоюет, так и вышло — на пятый день погиб. Теперь поставят ему памятник, а памятник по сравнению с жизнью — тьфу! Ерунда это по сравнению с жизнью... — и все отправились на дачу, где стали играть в бильярд.

Я назвал удар отца "плебейским" — шар долго качался у лузы и, наконец нехотя в нее плюхнулся; Ворошилов тут же отреагировал на мое "барское" замечание:

— Плебейский?! А ты кто такой? Господин! Плебейский удар ему не нравится! Ты должен гордиться своим происхождением! — и пошел ораторствовать, разясняя, что немцы пришли отнять у нас наши социальные завоевания — хотят, чтобы судомойка всегда оставалась судомойкой, а помещикам и капиталистам можно было жить не трудясь. Из его слов следовало, что Гитлер не может простить нам, что в семнадцатом у нас Рябушинского обидели.

Я внимал этим разглагольствованиям с полным доверием. (Что ж, Кочетов и Шевцов и теперь страшат нас, что вот вернутся купцы и промышленники и заберут под банк и ресторан резиденцию нашей родной Лубянки...)

Уезжая, маршал лишь со мной одним попрощался за руку. Однако папа был не спокоен: "Что тебе Ворошилов — мальчишка? Боксом с ним драться..." По городу поползли слухи, что гусаровский сын совсем свихнулся, зарвался окончательно. Но через неделю Ворошилов позвонил отцу и передал мне привет. Тогда у папы отлегло от сердца.

АНЦЕЛОВИЧ

Кто уж действительно свихнулся — даже я не мог не заметить этого,— так это бывший каторжанин, видный профсоюзник, а затем Наркомлес, Наум Маркович Анцелович. В свои шестьдесят лет он пытался плясать вприсядку, отняв у бабки кухонный нож, зажал его зубами и исполнил лезгинку, хвалился, что в царской тюрьме нассал на голову надзирателю (мог приберечь свою шутку до лучших времен), а своему адъютанту кричал, брызгая слюной: "Вы говно! Что?!" Все это не мешало отцу принимать его с полным почтением. Большинство его соратников сгинуло без следа и памяти, а Анцелович все еще ходил живой и даже с депутатским значком.

Однажды отец принялся рассказывать Анцеловичу дурацкий антисемитский анекдот, мне было ужасно неловко, и я попытался потом наедине вразумить папашу, что это некрасиво. Он сконфуженно возразил: "Да что ты? Анцелович — поляк".

Впоследствии я понял, что юдофобство отца такого сорта, что своих знакомых евреев он за евреев не считает. О директоре Мотовилихинского артиллерийского завода Быховском он говорил: "Абрам Исаич? Нам, русским, еще у него поучиться! Да он в свое управление еврея ни за что не возьмет. Наш мужик!"

Может быть, под влиянием Анцеловича отец переменял свое решение не пускать меня на фронт (со времени отъезда Ворошилова прошло не больше двух месяцев). По "казацким обычаям" (о которых отец мог знать разве что понаслышке) мне сшили форму, подарили наган, португеею, автомат— только коня не отвалили. Анцелович еще погостил у своей эвакуированной жены, заодно пробил что-то для сто тридцатой дивизии (впоследствии гвардейской), написал на бланке, что я являюсь политбойцом и увез с собой.

Вначале я жил в Москве, в его квартире в Доме правительства ("Допр'е", как его называли), где кинотеатр "Ударник", а теперь еще и Театр эстрады. Несколько позже я узнал, что большинство советских граждан расшифровывает "Допр" не как Дом правительства, а как Дом предварительного заключения. Так же впоследствии я узнал, что обитателям Дома правительства были известны оба значения аббревиатуры — в доме едва ли оставалась квартира, не познавшая арестов и обысков. Анцелович был чуть ли не единственным счастливымчиком.

В библиотеке Анцеловича я "позаимствовал" две книги — Станиславского "О работе актера над собой" и томик Надсона. И хотя я умудрился потерять все — от автомата до комсомольского билета, но Станиславский прошел все дороги, все гауптвахты и теперь — нетронутый и во время обысков — лежит у меня в комнате на полке. Анцелович, узнав, что я стащил книги, не сердился, только попенял, что ж я у него не попросил, он бы мне их надписал. Но я и в юности не любил, чтобы Ласкера мне надписывал имярек-даритель, а сам Станиславский уже лет пять к тому времени как ничего не надписывал, не говоря уж о Надсоне.

Вскоре мне пришлось оставить квартиру в Доме правительства, так как там поселились две молоденькие "боевые подруги", и Анцелович грозно втолковывал им: "Я тоже человек! Что?!" Я струсил и перебрался в комнату тети Зины на Арбате.

В Москве, где я проболтался месяц, работал один-единственный театр. Я пошел на спектакль, чтобы увидеть собст-

венными глазами легендарную Валю Серову — единственную женщину, которой в двухсотмиллионной державе посвящались лирические стихи. До этого я видел ее в фильме "Весенний поток". В помещении филиала МХАТа ставили "Русских людей". Сафронова играл Аржанов, Глобу — Д. Н. Орлов, Васина — Р. Я. Плятт — тогда еще без всяких званий, а Валю — Серова. Ни сама она, ни ее игра не произвели на меня впечатления, поэтому, когда по окончании спектакля театралы ринулись к рампе, я остался стоять в своем ряду и вежливо хлопал. И тут она заметила одинокого безусого солдата в портуpee и с наганом, улыбнулась нежно-патриотически и низко-низко, до самой земли поклонилась воину. С этой минуты и до самого эшелона я дежурил у театрального подъезда. Серова всякий раз замечала меня и улыбалась, но однажды подъехала машина, и мне было видно сквозь заднее стекло, как она целуется с Симоновым. Я продал билет и целый вечер сам не свой бродил по улицам...

Я попробовал еще однажды, днем, зайти к Анцеловичу, но присутствие "боевых подруг" заметно ощущалось — я застал его всклокоченного, с помятым лицом, в халате, на столе громоздились бутылки. Я поскорей распрощался и поехал на Арбат, хотя он уговаривал меня остаться и выпить.

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

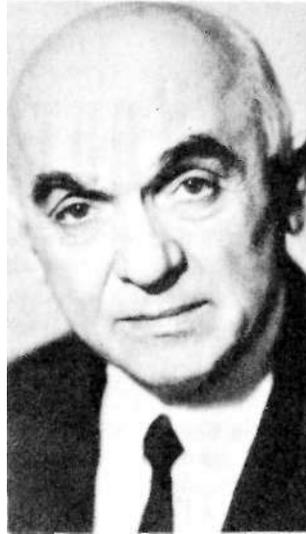
«КОНТИНЕНТ» № 9

Литературный, общественно-политический и религиозный журнал

СОДЕРЖАНИЕ

- Томас Венцлова — Памяти поэта. Вариант
 Владимир Максимов — Ковчег для незваных. Из романа
 Иржи Гохман — Чешский эппенинг.
 Анри Волохонский — Из цикла «Йог и суфий»
 Василий Бетаки — Из цикла «Европа — остров»
 Вадим Делоне — «Что-то в белых снегах беспокойное...»
 Марина Глазова — «И бьется, вьется пена паутиной...»
 А. Марченко, М. Тарусевич — Tertium datur — третье дано
 Наум Коржавин — Психология современного энтузиазма
 Аделаида Ламберг — Эстонские диссиденты — за независимость
 Исаак Дон Левин — ГУЛаг и Запад
- А. Ретти — Прощание с «Голосом Америки»
 А. Солженицын — О работе русской секции Би-Би-Си
 Татьяна Ходорович — Открытое письмо Леониду Плющу
 Леонид Плющ — Ответ Татьяне Ходорович
 Алексей Лосев - Ненаписанные репортажи
- Александр Янов — Комплекс Грозного
 (Предисловие А. Пятигорского)
- Борис Орлов — «Февраль семнадцатого» в канун нэпа
 Борис Бажанов — Побег из ночи (Из воспоминаний бывшего секретаря Сталина). Продолжение
- Вioletта Иверни — Попытка времени (Проза Владимира Корнилова)
- Ю. Вишневецкая — Невидимкою луна...
 Интервью с Пьером Дексом
- Заявления А. Сахарова и Е. Янкелевича
 Главный редактор Владимир МАКСИМОВ
- «Континент» выходит ежеквартально.
 Представитель в Израиле Михаил Агурский
 Иерусалим, Ramot 6/30

Михаил ШУЛЬМАН



ПЕТРОГРАДСКАЯ ГАСТРОЛЬ КАНТОРА ШУЛЬМАНА

До моего отца в одесской Шалашной синагоге служил "король российских канторов" Э.З. Разумный. Незадолго до смерти старый кантор завещал свою должность малоизвестному молодому Боруху Шульману, своему второму кантору.

Разумного мой отец попросту боготворил, но Разумный, узнав, что отец закончил Миланскую консерваторию у самого Августа Броджи, сказал только:

— Можно кончить десять консерваторий, а до еврейской души не добраться. Посмотрим, как он себя покажет в качестве второго кантора. Посмотрим.

Отец все чаще заменял в Шалашной синагоге подолгу хворавшего Разумного, и евреи пришли к выводу, что Борух Шульман кое-чего стоит.

— Этот мальчишка, — говорили великие ценители, — в скором времени заткнет кое-кого за пояс.

В главной одесской хоральной синагоге пел сам Пиня Миньковский с настоящим органом и смешанным хором, а

в синагоге, что на Ришельевской, пел не кто-нибудь, а Штейнберг, и все-таки не туда, а в Шалашную синагогу нельзя было прорваться, не потеряв всех пуговиц на пальто и даже на брюках. И все-таки не туда, а в Шалашную синагогу приходил сам одесский градоначальник, кстати, неплохой ценитель канторского пения, и все-таки не туда, а в Шалашную синагогу приходили все приезжавшие на гастроли в Одессу музыканты и особенно певцы.

Для моего отца назначение на должность главного кантора одесской Шалашной синагоги было головокружительным успехом.

Прошло совсем не так уж много времени, а в Одессе стали говорить, что Борух Шульман унаследовал не только талант кантора Разумного, но и его довольно капризный характер.

— Разумный перед этим Борухом Шульманом робкий кролик, — говорили габоим, наплачемся мы с ним.

Три субботы подряд отец пел у себя в синагоге, а четвертая суббота месяца была у него гастрольной, и за нее он получил большие деньги от правлений синагог разных городов России.

Гастрольные выезды у отца всегда проходили довольно шумно, но на этот раз в доме был особенный переполох. И чем ближе срок отъезда, тем больше нервничал отец, все швырял и все время перекладывал большой чемодан.

— Ты чего мечешься? Что с тобой? — наконец сказала мама. — Какая пчела тебя ужалила? Посмотрите, как он разошелся?.. Можешь не ехать, — продолжала мама, — отдохни. Мы ведь не помрем с голоду, если ты не поедешь. Дай телеграмму, что нездоров. Всех денег не заработаешь, а Мулик побежит и сдаст билет.

— Ну что вы все понимаете? — ответил отец. — Уставились на меня как на безумного! Вы имеете хоть какое-то представление, что такое премьера? Я же в Петербурге никогда не пел. Вы полагаете, что Петербург — это что-то вроде Жмеринки или Вапнярки?..

Шел январь 1917 года. Было мне десять лет, и, разумеется, никто не посвящал меня в подробности отцовских дел.

Лишь потом, много лет спустя, отец рассказал мне пред- историю этих гастролей:

...Кто-то из концертных антрепренеров организовал в одесском оперном театре одновременное выступление лучших канторов России — Ройтмана, Миньковского, Штейнберга и Шульмана.

Успех был ошеломляющий. О концерте много писали газеты, а видный одесский фельетонист "Фауст" поместил в "Одесской почте" итоговую статью!

— Подумаешь, "Фауст"! Он, видите ли, ни одному из канторов не мог отдать пальму первенства. Идиот! Да только за исполненную Ройтманом молитву "Ошамну ми кол ону" его нужно было расцеловать и дать ему десять этих пальм... Пхе, "Фауст"... Будто я не помню, что весь зал стоя устроил Ройтману бурную овацию и заставил его спеть ее вторично. Ройтман уже приобрел мировую известность, а меня в Петербурге никто не знает,

— А ты возьми Мулика с собой, — неожиданно предложила мама, — ты ведь его хвалил, когда вернулся с ним из Харькова.

— Тем более что у меня каникулы, — вставил я.

Все рассмеялись, и отец велел собрать и мои вещи.

В этот же вечер дворовые друзья Вилька Охотский и Жорка Трофимов провожали нас с папой в Петроград. Было очень весело, только папа был немного грустноват, и мама от него не отходила.

Вся вокзальная площадь в Петрограде была заполнена воинскими частями, лошадьми, бричками, оркестрами, трехцветными знаменами и флагами. Такого количества сестер милосердия мне никогда не приходилось видеть раньше. Пока мы обходили эту вокзальную площадь и добрались до начала Невского проспекта, мы слышали всякие военные команды, рапорты, звуки оркестра и даже крики "ура".

Встретившие нас члены правления петроградской синагоги шли и разговаривали с моим отцом, а я раз-

глядывал Невский проспект и сравнивал его с Одессой: если бы не адмиралтейский шпиль, то наша Пушкинская или Ришельевская были ровнее, и зеленее, и красивее. Хотя, пожалуй, в Одессе не было столько генералов, полковников и вообще военных.

— А где же царь? — все время спрашивал я отца.

— Молчи, дурак, — сдерживал меня отец, — зачем тебе сдался царь? Ты же его уже видел в Одессе.

В Одессе очень хорошая Лондонская гостиница, но здесь, в Петрограде, Европейская гостиница, в которую нас привезли в каком-то крытом фаэтоне с фонарями, запряженном тройкой лошадей, оказалась получше.

Я был счастлив, когда утром следующего дня, в пятницу, к нам в номер пришли два мальчика, сыновья кантора Ройтмана, и папа отпустил меня с ними на несколько часов до обеда. Ему нужно было порепетировать и вообще побыть одному, а мы за это время посмотрели Казанский собор, влезли на верхушку Исаакия и побывали в Эрмитаже.

После обеда отец заставил меня лечь поспать, а в пятницу вечером мы вместе с ним побрели пешком к синагоге.

— Я буду тебя ждать здесь, — сказал мне отец как-то таинственно, — а ты войди в синагогу, послушай, как поет второй кантор и через десять минут приходи сюда...

— Ну как? — спросил меня отец, когда я вернулся.

— Да ничего особенного, — ответил я, — пустая синагога, скука и тоска...

— Что значит пустая синагога? — допытывался отец. — И женщин мало?

— Женщин ни одной. Я был наверху. А внизу не более двух десятков человек. Зато, папа, синагога какая! Храм!

Отец задумался. Он знал, что и в Одессе по пятницам, когда вместо него молился второй кантор, народу в синагоге бывало не слишком много. Но чтобы не было женщин? В Одессе все они очень набожные, а тут, в российской столице...

— Значит, здесь нужно молиться и для набожных, и для любителей и знатоков, каждый из них будет ждать от меня разное, — сказал он. — Завтра надо пораньше встать, чтобы все приготовить к синагоге. Завтракать я не буду, и ты возьми с собой бутылку молока и кусочек лекаха, возможно, что я там... Иди спать. Завтра суббота, и ехать в синагогу здесь нельзя. Пойдем пешком. Это тебе не Одесса.

Засыпая, я еще долго слышал, как отец напевал какую-то мелодию, как он готовил что-то, гремя ложечкой в стакане, и я не мог угадать, что он готовил. Я-то думал, что гоголь-моголь, а когда он стал громко полоскать горло, я убедился в своей ошибке. И заснул я с вопросом, который возник еще в Одессе, когда отец сказал маме и Зиновии: "Сумею ли я добраться до печенок и сердец петербургских евреев?" Я-то был убежден, что сумеет!

И когда отец у меня рано утром спросил, почему я так убежден в его успехе, я ему ответил:

— Хотя бы потому, что Ройтман за много лет им уже надоел, а тебя ждут с интересом, любопытством... И потом Ройтман холоднее тебя, папа.

Отец расхохотался и сказал:

— Вот в том-то и дело, Мулик! Меня часто упрекают именно в том, что я слишком эмоционален и что это плохой признак в искусстве.

... У входа в синагогу те же люди, что встречали нас на вокзале в день приезда, попросили отца пройти особым служебным входом, так как около синагоги столпотворение и конная полиция наводит порядок. Отец мне незаметно подмигнул: это был наш условный сигнал. Я стал пробираться в синагогу. Найдя шамеса и сказав ему, что я сын кантора Шульмана, я попросил его — от имени папы — немедленно закрыть все до единого окна, чтобы не было никаких сквозняков. Шамес буркнул в ответ: "ройтмановские штучки", — и мне стало ясно, что такое же требование предъявлял и Ройтман; да и все настоящие канторы как огня боятся простуды.

С трудом я пробрался к амвону и через боковую дверь в маленькую узкую комнату, где готовился к выходу папа. В фесе, рясе и наброшенном на плечи талесе он был бледный и величественный. Я сказал, что все окна закрыты, и он мне кивнул, что означало: пора достать теплое молоко. Молоко он не пил, а прополаскивал горло не глотая. Еще сигнал — и я вышел изучать реакцию прихожан на его появление. Я знал: отец не появится без приглашения, он дожидается первых признаков нетерпения публики, но вот он вышел и медленно, медленно подошел к амвону.

Женщины и наиболее набожные молились вместе с кантором, следя по молитвенникам за ходом службы, а столичные снобы и любители канторского искусства с нетерпением ожидали, когда же он начнет "брать за живое".

Но отец не спешил. Поведение, эмоции и настроение были у него запланированы заранее. Сперва он молился, как говорят, академически, и это не вызывало ни у кого осуждения, но не было и одобрения: так, ни рыба ни мясо.

Мы потом в Одессе хохотали, когда отец рассказывал в деталях о своей "петербургской тактике",

— Я начал не с первого и не со второго, а с третьего, да, да, сразу с самого вкусного. Ведь прихожане — это дети, которые, сидя за обедом, только и ждут, когда же наконец им дадут компот или мороженое. Вся соль заключалась в том, чтобы правильно определить, что именно дать им на третье. И я это сделал в маленьком, а не как обычно в большом "Ав горахамим"^{**}, и это было для петербургских прихожан приятной неожиданностью.

В этом небольшом фрагменте богослужения перед выносом Торы отец показал все, на что он способен, привел петербуржцев в полное изумление, победил их столичный снобизм.

Шел я к амвону чужими ногами, глаза, руки — все чужое, и от обуявшего меня страха весь огромный зал и балконы синагоги поплыли передо мной, как в тумане. И только когда повернулся спиной к прихожанам, меня точно кнутом стегнула сама действительность: надо петь! И я запел.

^{**}"Отче милосердный" (древнеевр.)

Отец держал прихожан на голодном пайке, и лишь отдельными бликами, короткими и яркими, он довел присутствующих до религиозного экстаза. Тут уже не печенки и сердца, а души были в его власти.

"Отче милосердный, благодетельствуй в благоволении своем Сиону. Сооруди стены Иерусалима, ибо мы надеемся на одного Тебя, о Царь-Бог Всевышний и Превознесенный, Владыко миров!" — завершил отец малый Ав горахамим. И все евреи, находившиеся в столичной синагоге, были покорены и ввергнуты в тяжелое состояние.

По заданию отца я должен был прислушиваться, что говорят прихожане. О канторе Ройтмане никто не говорил и не вспоминал. Говорили, что мой отец кантор международного класса и что Одесса плохих канторов не держит.

Обо всем этом я рассказывал отцу по дороге домой, в Европейскую гостиницу, и он молчаливо одобрял мою способность все запомнить и точно передать услышанное. А в гостинице он быстро сбросил шубу и, схватив меня, стал кружить по комнате, все время повторяя: "Молодец ты, Мулик, молодец!" Оба мы были очень довольны и от души радовались и хохотали, как малые дети. И так танцуя со мной по комнате, он вдруг выпустил меня и поставил на пол.

— Не только мы с тобою молодцы, но и габоим синагоги оказались молодцами. Посмотри, — и он показал на стол, — пока я менял белье и остывал, они принесли мне гонорар... ого-го-го! — вместо двухсот — пятьсот рублей! А? А какие подарки? Нет, ты погляди, с ума сошли, что мы, из голодного края? И даже тебе велосипед! Надо же!

И он тут же попросил меня пойти к габою на квартиру и передать от него благодарность.

— Или нет, пойдешь к нему вечером, я хочу написать ему письмо, а сейчас еще нельзя писать. Давай пообедаем. Ты заказал настоящий еврейский обед, как я просил?

После обеда он лег отдохнуть, как делал всегда, и все комнаты потряс его здоровый храп, храп счастливого и довольного человека. Я вышел и, перебежав улицу, стал читать

афишу, на которой обнаружил многие знакомые имена: Цесевич, Собинов, Смирнов, Селявин, Лабинский, Нежданова...

От этого занятия меня оторвал портье Европейской гостиницы, который кричал: "Мальчик, мальчик, иди сюда!" Я испугался и подбежал.

— Когда уходят из номера, молодой человек, нельзя ключ забирать с собой, — сказал мне портье с упреком.

— Я ведь на минуточку. Там в номере папа спит, и пока он...

— Он уже не спит. К нему кто-то пришел, и папа не мог найти ключа.

У дверей номера действительно находился какой-то человек, и первое, что меня удивило, это то, что он был не раздет, а в шубе.

— Я знаю, что тебя зовут Мулик Шулман, — сказал он мне, — это я по просьбе твоего папы попросил, чтобы тебя нашли. Мы сейчас все поедом в одно место, и папа уже одевается. Я открыл дверь, незнакомец первым вошел в номер и обнял отца. Это был администратор Федора Ивановича Шаляпина — Исай Григорьевич Дворищин.

Исайку — сына бедного воронежского портного — знал весь русский артистический мир благодаря Исайкиной близости к Федору Ивановичу Шаляпину. Исайка был при Шаляпине человеком "на все руки" — секретарем, другом, слугой... Исай был предан Шаляпину самозабвенно, и это помогало ему сносить грубости и оскорбления, на которые щедр был тяжелый нравом Шаляпин, при всем том нежно любивший своего "Исайку", "Исайчика", "милого Исая", "дорогого Исашку"...

Сам Исайка обладал ярким артистическим талантом и, бывало, выступал в операх вместе с Шаляпиным. Хотя Исайкин голос не шел ни в какое сравнение с шаляпинским, однако актерские данные у Дворищина были не слабее. Вместе с Шаляпиным-Варлаамом Исайка исполнял в "Борисе Годунове" роль Мисаила и актерски "переигрывал" своего великого партнера. Шаляпин говаривал о Дворищине: "Голосишко хреновое, но актер хороший. Уважаю за это".

И вообще Исайка был многосторонне талантлив, однако ни один из его талантов не был так значителен, как талант администратора. Здесь он был бог!

— Береле, — закричал Исайка отцу, которого видел, по существу, первый раз в жизни, — ты аид, и я тоже аид! Так разве, я тебя спрашиваю, один аид откажет в помощи другому аиду? А?! Ты же знаешь Федю! Ну, не знаешь, так слышал, какая это цаца, а я имею "счастье" у него служить.. Какое там служить?! Мучиться! Типичный гой! Еще какой! Если ему что захотелось, вынь да положь...

Из дальнейшего выяснилось, что Исайка вчера был в синагоге и слушал моего отца ("... Береле, это был настоящий цимес, что-то особенное, куда там Ройтману, дай Бог тебе здоровья и этому чудному мальчику тоже..."). В тот же день Исайка рассказал о своем впечатлении Шаляпина, и "Федя" захотел познакомиться с кантором Борухом Шульманом. Впоследствии выяснилось, что Шаляпин не раз слышал о моем отце, но не выпадало случая встретиться с ним и послушать его замечательный тенор. Короче, Исайка получил приказ привезти Шульмана в тот же вечер: "Не привезешь, прибью, как пса!"

— Разве это жизнь? — жизнерадостно кричал Исайка. — Разве моя дорогая мамелэ о такой жизни здесь мечтала для своего Иселэ? А ведь прибьет, ей-Богу, прибьет! Можешь не сомневаться.

Такое неожиданное и бесцеремонное вторжение Исайки явно смутило отца. Он нервно заходил по номеру забормotal что-то невразумительное..."Да, да, конечно,... Но все-таки... И меня нужно понять... Это не сообразуется...",

Наконец, овладев собой, отец нетвердым голосом объявил, что, если Шаляпин желает с ним познакомиться, может хоть сейчас, прийти в гостиницу.

— Береле, слушай, что я имею тебе сказать, — отвечал Исайка, ставший вдруг грустным и тихим, — ты, Береле, замечательный кантор. Может быть, один из трех или четырех лучших в мире. По мне, так самый лучший. Но Шаляпин — это Шаляпин. Он приглашает тебя в гости, а ты, подумай,

что ты говоришь, это Бог знает что! Надевай шубу и поедем. Этого мальчишка тоже возьмем с собой. Ведь это — твой сын, Береле, не так ли? Мальчик, ты хочешь к Шаляпину?

— Хочу.

— Вот видишь, Береле, он хочет к Шаляпину. Пошли скорее!

В те годы слава Шаляпина гремела по всей России, да и в других странах он уже был хорошо известен. Для меня, десятилетнего мальчишки, Шаляпин был знаменитостью, чьи изображения я видел на почтовых открытках, на обертках конфет и мыла, на коробках папирос и шоколада, на игральных картах, на водочных бутылках и этикетках духов...

Когда отец, Исайка и я ехали на извозчике к Шаляпину, я думал о том, как по возвращении в Одессу буду рассказывать своим дворовым друзьям, что я был у самого Шаляпина, и как они будут мне завидовать...

У дверей — на серебряной пластинке было выгравировано: Ф. И. ШАЛЯПИН,— Исайка становился и протянул руку к звонку.

— Подожди, — удержал Исайку отец, — дай отдышаться.

Исайка скорчил понимающую мину:

— Шаляпин — это, золотко мое, Шаляпин!

На звонок открыл дверь богатырского роста мужчина в восточном халате, перепоясанном плетеным шелковым шнуром,— сам Федор Иванович Шаляпин.

— Я весьма благодарен вам, господин Шульман, что вы сооблаговолили приехать ко мне. Сожалею, что не имел возможности и чести присутствовать вчера в синагоге, чтоб насладиться вашим искусством. Но я не мог отказать себе в удовольствии познакомиться с коллегой, о даровании которого слышал восторженные отзывы, — говоря все это, Шаляпин любезно помогал отцу снять шубу. Хихикая, Исайка стаскивал с меня пальто, хитрюще подмигивая Шаляпину.

Зал, в который нас ввели, был огромен. Вдоль стен стояли широкие оттоманки, с самого потолка на них опускались

ковры. В углу комнаты — рояль светлого дерева, а на коврах по стенам, рядом с крупными фотографиями великих вокалистов того времени с автографами, было развешано старинное оружие и какие-то странные музыкальные инструменты...

— Ради Бога, извините, — сказал отцу Шаляпин, — мы с Исайкой вас ненадолго покинам. И они удалились.

Я стал рассматривать огромные звериные шкуры на полу, морды смотрели в углы, словно звери стремились по стене добраться к потолку, где их ждали диковинные чучела попугаев... Затем я вместе с отцом разглядывал портреты с надписями Шаляпину. Меня удивило, что все до единой надписи начинались словами "Великому артисту..." и т. д.

— Дурачок, — тихо сказал мне отец, — ты хоть знаешь, на кого смотришь?.. Эге! В том-то и дело, что не знаешь. Это мой учитель Августо Броджи...

Шумно возвратившийся Шаляпин сразу уселся к роялю, потирая руки:

— Извините за задержку. Все разные дела. В доме не оказалось ничего. Ни чаю, ни сахара. Обоих прислуг отпустил, а теперь локти кусаю. Но, как всегда, меня Исайка выручит. Вместе поьем чайку.

— Что вы, что вы, благодарю вас,

— Будет вам. Чай не водка. Я иногда, правда, грешу. А почему бы и нет, она нам, басам, полезна... Да что это я не то плету... Я хотел бы с вами посоветоваться. Никак не могу для себя решить, что лучше. Вот послушайте, Борис Львович, — и Шаляпин, аккомпанируя сам себе, спел вполголоса какую-то арию.

— Это один вариант, а теперь послушайте второй, — и Шаляпин пропел еще раз... Как по-вашему, Борис Львович, какой вариант лучше?

— Лично я не вижу никакой разницы, — смущенно сказал отец.

Шаляпин расхохотался — и в это время возвратился Исайка.

— Ну конечно же никакой разницы. Я просто пошутил, а ведь до вас все находили разницу, да еще какую... А хотите я вам спою?

Аккомпанируя себе, Шаляпин спел "Сомнение" Глинки, а потом, почти без перерыва, "Блоху" Мусоргского. Он пел, обращаясь ко мне, будто я был его единственным слушателем, и у меня душа ушла в пятки, когда в конце "Блохи" раздался знаменитый шаляпинский хохот...

— А теперь ваш черед, уважаемый Борис Львович. Я очень прошу вас исполнить что-нибудь из вашего синагогального репертуара. Знаю, знаю, что нельзя не в синагоге, но пусть считается, что вы на репетиции. Вот Исайка мне говорил, что репетицию можно проводить и не в синагоге. Никакого греха не будет.

Не помню, какую молитву пел в тот день отец. Помню лишь, что Шаляпин слушал с большим вниманием, положив подбородок на сплетенные пальцы рук и упершись локтями в колени.

А когда отец кончил и смущенно посмотрел на Шаляпина, Шаляпин вскочил и крикнул Исайке:

— Исайка! Да кого ж ты мне привез? Здорово-то как! Просто здорово! И не только в голосе дело, а потому что — артист!

И, уже обращаясь к отцу, спросил:

— А вы, Борис Львович, что-нибудь оперное поете? Да что это я! Разумеется, поете: ведь у Броджи учились.

Отец спел арию "Манрико" из "Трубадура" Верди.

— Борис Львович, — с каким-то укором сказал Шаляпин, подойдя к отцу вплотную, — да вы же настоящий артист, редкого дарования. Эдак звезданули верхнее до, чудо! Неужели вы не пробовали поступить в оперу?

— Я немного служил в одесской опере перед тем, как поступить в Шалашную синагогу.

— Так отчего же вы ушли из оперы?

— Жить надо было, Федор Иванович. Жалованье определили пятьдесят рублей в месяц. А в синагоге мне сразу сто пятьдесят рублей положили...

— Ну, я-то совсем начинал с двадцати целковых в месяц, а сейчас... — на лице Шаляпина изобразилось удовлетворение тем, что сейчас. — Конечно, деньги нужны, так как артист должен думать об искусстве, а не о том, где одолжить рупь на завтра. Потому-то я никаких бесплатных концертов не даю — бесплатно только птички поют, поскольку пропитание задаром получают.

— Если согласитесь, я вам протезировать буду. Снова станете петь в опере, и вам, и публике больше радости, и мне польза. Ох, как нужны вы мне и сколько я ищу такого, как вы! Ну, так как? По рукам? А?

— Нет, Федор Иванович. Я — еврей. Петроград и Москва — не для меня. Мне по закону черта оседлости предписана

— Ах ты, Господи, велика важность — еврей! Вон Антокольский, Блюменфельд, Левитан, да вот же Исайка были евреи, а нынче такие же, как и я. Ну и что с того?

— Не такие, Федор Иванович. Вы не были евреем, а они были и все про то помнят.

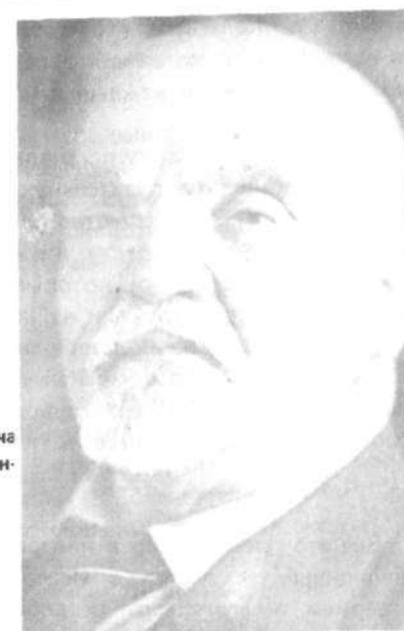
— О чем тут помнить, Борис Львович? О том, что свод законов Российской империи давно изжил себя и устарел? Так и мне тоже от этих законов есть обида. По закону, раз я крестьянского сословия, меня каждый исправник своей волей в любой день высечь может. Да, да! А вас, кстати, не может. Так мне из-за этих законов в евреи идти и в опере не петь?! Так, что ли?

— Нет, не о законах, Федор Иванович, люди помнят, а о том, что человек свою веру променял на право жительство в столицах.

— Эх, куда метнул, батенька! Я вам, как на духу, скажу: для меня искусство важнее православия. Во имя искусства я бы в далай-ламы окрестился, но на клиросе не пел бы. Один шаг в церковь — и меня бы не золотом осыпали, а бриллиантами. Очень жаль. И себя губите, и для оперы большая потеря. — Шаляпин подумал минуту и сказал: — Я вам свою фотографию подарить хочу. Пусть она напомнит вам о нашем разговоре — авось, образумитесь.



Фотография Федора Ивановича Шаляпина, подаренная им кантору Шульману.



Кантор Борух Шульман.

Шаляпин пошел в соседнюю комнату и вернулся с фотографией, на которой еще не просохшими чернилами было написано — *Борису Львовичу Шульману. 1917 год.*

Отец взял фото, поблагодарил и, сопровождаемый Исайкой и Шаляпиным, пошел в прихожую. Я тащился за ними последним.

В прихожей, надевая шубу, отец виновато попросил: — Исай, пожалуйста, проводи нас в гостиницу.

А когда мы вышли на улицу, отец сказал:

— Ты на меня не сердись, Исай, я не хотел тебя обидеть. Да и не судья я тебе. Ты бы зашел в гостиницу — посидим, потолкуем, как два еврея. Ты для меня есть, был и будешь евреем, хоть ты и крещенный.

На извозчике ехали молча, а в гостинице отец нервно продолжал, шагая по номеру из угла в угол:

— Как ни поверни, а нам плохо. Если ты еврей, то тебе и погромы, и черта оседлости, и гетто, и процентная норма.

— У вас, Борис Львович, религиозное мышление, а я — атеист. Вы полагаете, что выбирать нужно между правдой и неправдой, а на самом деле совершается выбор между двумя правдами, и каждый выбирает ту, которая для него весомее...

Я смотрел на Исайку с удивлением и не узнавал его. Отец тоже заметил эту разительную перемену. Сейчас Исайка говорил по-русски абсолютно правильно — в его речи не было ни акцента, ни картавости, ни жаргонных еврейских оборотов — ничего! Его руки, которыми он ранее бешено жестикулировал, спокойно лежали на коленях. И вообще теперь он больше походил на Вольтера, каким его изобразил Гудон. Едва уловимая саркастическая усмешка кривила рот. Не было ни суетливости, ни вульгарности. Наоборот — совершенное спокойствие и аристократизм.

Все это происходило в январе 1917 года. И когда отец с Шаляпиным, а потом с Исаем Дворищиным рассуждали о церкви, синагоге, черте оседлости, им и в голову не прихо-

дило, что всей жизни, в которой эти вещи имели значение, оставалось едва ли месяц.

После Октября молодая советская власть стала крепко притеснять моего отца, как служителя культа. Шалашная синагога сгорела дотла. Чудовищное пламя несколько часов освещало ночную Одессу, отражаясь в глазах евреев, выславших на улицы с громкими рыданиями. Но никто не сделал попытки погасить пожар. После гибели синагоги отец надолго слег.

Власть требовала, чтобы отец прекратил отправление служб в синагогах. Отец не соглашался. Мы переезжали из города в город, нигде не задерживаясь подолгу. В конце концов кантора Боруха Шульмана лишили гражданских прав. И это событие стало концом нашей семьи: мы рассыпались по огромной России в поисках жизненных путей. Отец дожил до восьмидесяти шести лет, последние годы он был кантором львовской синагоги. Голос его не слабел с годами. Умер он в 1963 году, и — по счастью, уже без него — львовская синагога была превращена городскими властями в спортивный зал.

Судьба Шаляпина известна — он эмигрировал в 1922 году. Дворищин за ним не последовал — не верил, что Шаляпин может покинуть Россию навсегда. Сына своего он назвал Федором и продолжал ждать свидания с великим другом.

После революции он некоторое время заведовал Свободным театром в Воронеже, потом вернулся в Петроград, в Мариинский театр, в котором прежде работал с Шаляпиным.

Говорили, что Дворищин проводил в театре все время, с раннего утра до позднего вечера. Он не изменил этой своей привычке даже когда началась Отечественная война и Ленинград оказался в блокаде. В голодном промерзшем городе Дворищин поставил две оперы — "Евгения Онегина" и "Травиату". По сцене двигались скелеты, обтянутые кожей, а изо рта певцов вырывались белые клубочки пара — в зале была стужа, как на улице. Умер Дворищин от истощения в самую тяжелую блокадную зиму, в 1942 году...

В январе 1917 года, беседуя с моим отцом, Дворицин думал, что для себя и своих внуков навсегда "закрыл" еврейский вопрос: крещение было охранной грамотой от процентной нормы, погромов и черты оседлости. По счастью, до борьбы с "безродными космополитами" Исая Григорьевич не дожил.

... А недавно я узнал, что все родные Исая Григорьевича Дворищина живут ныне в окрестностях Тель-Авива, в Кфар-Сабе.

ТЕЛЬ-АВИВ
1976 год

ДАВИД АВИДАН

"КРИПТОГРАММЫ С БОРТА РАЗВЕДСПУТНИКА"

Издательство Э. Левин-Эпштейн—Модан совместно с издательством "Тридцатый Век" сообщают, что вышел из печати сборник произведений одного из самых известных израильских поэтов-авангардистов ДАВИДА АВИДАНА "Криптограммы с борта разведспутника" в русском переводе, перевел с иврита Савелий ГРИНБЕРГ.

Эта книга — первый, на русском языке, сборник поэтических переводов произведений новейшего периода в современной израильской литературе модернистского направления.

ПРИБРЕТАЙТЕ СБОРНИК В МАГАЗИНАХ РУССКОЙ КНИГИ — "ЛЕПАК", БОЛЕСЛАВСКОГО, "ХАЙФО-ЛЕПАК", "ДАР", В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ "ГАКИБУЦ ГААРЦИ", "ГАКИБУЦ ГАМЪУХАД", В МАГАЗИНАХ СТЕЙМАЦКОГО, ВСЮДУ В КРУПНЕЙШИХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ СТРАНЫ.

Адрес распространителя: "Алим", Карл Нэтэр 3, Тель-Авив, тел. /03/293959

Цена — 20 лир. 104 стр. В хромовом переплете.



Сергей АНДРЕЕВ

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

КНЯЗЬ ДУДУ И ДРУГИЕ

1. ГУСАРСКАЯ

Позавчера сидим в "Стрельне" — Пашка Молоствов, князь Дуду и я. Спросили дюжину шампанского и разглядываем баб. И тут привязался к нам какой-то паскудного вида шпак. Подсел к столику и спрашивает:

— А что доблестное Российское офицерство думает о положении во Вьетнаме?

Князь Дуду вынул сигарету изо рта, посмотрел на шпака через монокль и обращается ко мне:

— А чего этой райкомовской морде нужно в нашей благородной компании?

Шпак тут начал возмущаться, руками махать — и опрокинул-таки на князя соусницу.

Пришлось его зарубить!

2. КУПЕЧЕСКАЯ

Позавчера возвращаемся мы с похорон Пров Прохоровича — того самого, что умер, объевшись растегаями с зайчатиной. И едем прямо в Купеческое собрание, там наша гильдия чествовала героя-космонавта Павла Поповича. Я лично представил на празднество осетра о трех пудах.

Заходим в залу, глядим — тут он — и народу вокруг него — не протолкнешься. И вдруг какой-то купчишка третьегильдейский — бороды настоящей нет, и разбогател-то, Господи, на дегте, что срамным девкам ворота мажут, тычет его в бок вилкой и говорит:

— А что это он у вас такой несвежий.

Я его за бороду хватаю и тащу из залы вон, а он, сволочь беспартийная, упирается. Насилу мы его с Иван Онуфриевичем выдворили.

Возвращаемся в залу — смотрим — его уже и нет, одни хрящики остались. А герой-космонавт прилаживает на живот большую золотую цепь — от нашей гильдии подношение.

3. КРЕСТЬЯНСКАЯ

Позавчера приезжали с нас недоимку брать. Не успел я ворота запереть — слышу: дети в крик, баба в рев, а двое молодцов дюжих уже мою Пеструху к газикку волокут.

Я шапку ломаю, в ноги кидаюсь:

— Батюшка-барин! Товарищ секретарь райкома! Пошто семью сиротишь — последнюю курицу со двора сводишь!

А он меня сапогом в грудь пнул и отвернулся. А потом кричит молодцам своим толстомордым:

— Еще штук 12 — и в область рапортовать будем.

С тем и уехали.

4. ИСКУССТВОВЕДЧЕСКАЯ

Позавчера в отделении отправили меня в Союз писателей. Зашел домой, переоделся в статское платье, нанял извозчика: "Гони, говорю, на Воровского". Приезжаю, отдаю шубу, кланяюсь портретам царствующих особ, прохожу в залу.

Глянул — ба! Все свои и все — представляете — в статском платье! Председательствует господин жандармский полковник Соболев — словом, думаю, можно не беспокоиться, народ все свой, проверенный, дай, думаю, сосну часок. И уж совсем собрался вздремнуть, как вижу — пробирается ко мне по рядам камер-юнкер Рождественский. Встает во фронт и, верите, — слова вымолвить не может — весь бледный и руки трясутся.

— Ну что вы, Роберт, говорю я ему, вольно, вы же не на службе. Что там у вас стряслось?

— Господин околоточный надзиратель Кочетов явились пьянью, при шашке и внизу буяняют!

"Ну, думаю, этого еще не хватало. Только на днях один кинокритик ввалился, не сняв горохового пальто, на встречу с иностранцами, а теперь не дай Бог околоточный надзиратель явится сюда при шашке!"

Спустились вниз, — слава Богу — швейцар его держит крепко поперек, а он бьется и только тоненько пищит: "Всех изрублю в капусту, интеллигентские морды!"

Насилу его уговорили сдать шашку в гардероб.

5. ДУНЬКИНА

Позавчера мадам велела нам быть при полном антураже.

"Ну, думаем, слава те, Господи, — опять гусарский полк в наш город приехал".

Разоделась в пух и, прах. А привела мадам всего одного шупленького мужчину в очках.

Машка сразу обняла его за плечо и говорит:

— Мужчина, вы — душка, угостите портером.
А мадам ей:

— Сядь на место, дура, это же новый агитатор, пришел вас стерв, на выборы звать.

Тут он поправил очки и говорит:

— Прошу вас, девушек, завтра, без опоздания быть у избирательных урн и всем, как одной, проголосовать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных

— Мы-то уж придем, — говорю я, — да и вы нас не забывайте, заходите с товарищами. Чайку попить. Мой номер, говорю, семнадцатый.

6. ПРОФЕССОРСКАЯ

Позавчера пригласил нас к себе генерал-губернатор. И даже своих рысаков прислал. Встретил в приемной, с каждым за руку поздоровался и даже чаю предложил.

— Неплохо бы, говорит, господу ученые, к завтраму новую частицу открыть. Завтра вас их высочество посетит.

Тут директор наш — знаете, академик К. — говорит:

— Рады бы душой, ваше превосходительство, да открывать не с кем. Вторую неделю, по случаю приезда их высочества, полы моем. Наука — она ведь, знаете, такая вещь.

— Знаю, знаю, — сказал их превосходительство, — наука умеет много гитик. А частичка чтоб была. И не какая-нибудь там антисигма минус хренон, а что-нибудь серьезное, простое и непременно положительное.

Назад ехали мы на извозчике.

На другой день показал наш директор издали высокому гостю бильярдный шар.

— Вот она, говорит, новая частица. Только вчера открыли. Положительная.

А сегодня из газет узнаем — представили нас на Ленинскую премию.

7. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ

Позавчера сопровождал я иностранного принца на приеме их высочеству.

Вы ведь знаете, какие приемы у их высочества. Собирается весь цвет империи, а если кто статский, так непременно лауреат.

Сначала все шло хорошо. Подхватил мой принц какую-то дамочку и потащил в буфет шампанским поить.

И вдруг подходит то ли из писателей кто, то ли по нашему ведомству чин, не поймешь, но только совершенно пьяный, и хочет с принцем по-иностранному заговорить. Я его увещаваю:

— Милостивый государь, образумьтесь! Ведите себя прилично. Вы не смотрите, что у него гуталинная харя, это особа королевских кровей и левых убеждений.

А он открыл рот — видно, сказать что-то хотел, — да и облевал высокого гостя с головы до ног. Вышел большой дипломатический скандал.

Брошу я к чертям эту работу. Одни мне с ней шишки и неприятности. Пойду я лучше, по старой памяти, в Московский университет провокатором служить.

8. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

Позавчера разбирали мы у себя в департаменте жалобу Императорского Географического Общества. Просят они нас не загрязнять озеро Байкал.

Вот чудачки — нам и самим это в копеечку влетает, — попробуй, загрязни такую махину.

А все же их превосходительство от этого дела никогда не отступится. Очень он на этот Байкал зол. Тамошние инородцы — они ведь такая Азия — у его супруги нейлоновый бюстгальтер сперли. Их превосходительство ей этот бюстгальтер из Венгрии привез, из единственной своей заграничной командировки.

Так что назад пути нету — в убыток себе, а загрязним.

9. АРХИЕРЕЙСКАЯ

Позавчера чуть было не замирились мы с раскольниками. Отслужили совместно молебен — мы по-своему, они по-своему. И совсем уже зовет их митрополит нашего братом. Как наш-то и ляпни некстати:

— А правда ли, отче святой, что вы монашескую братию свою стерилизуете?

— Ну и что, что стерилизуем, — говорит ихний митрополит. — Зато у нас вера крепка. Не то что в иных братских церквях — одним глазом в "Капитал", другим — на бабу.

Тут и нашего забрало:

— А у антихриста хоть и два глаза, да оба косые.

Тут ихний совсем в рев:

— Почем, ревизионист окаянный, свой пролетариат диаволу продаешь?

И пошла у них дискуссия пуще прежнего. Намяли мы им всем собором бока, что уж и не знаю, как они до самолета добрались.

10. ЧЕРНОСОТЕННАЯ

Позавчера взялся я Россию спасать.

— Дай, думаю, сделаю святое дело.

А вышло — лишили меня квартальной премии, только и всего.

Пришел ко мне один из лаборатории. В белом халате, гад, и при галстукке.

— Расточите, говорит, пожалуйста, эту деталь по седьмому классу точности.

А я говорю:

— Возьми свой х... обрезанный, жидовская морда, и растачивай сам по какому хочешь классу. — И дал ему по морде.

Нас в союзе Михаила Архангела ведь как учили: интеллигенты эти — они все жидаы.

А оказался он православный — Иван Иванович Веревкин — и даже исповедоваться ходит.

Вот и лишили меня квартальной премии.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ РЕДАКЦИИ

Этими маленькими притчами мы заканчиваем публикацию литературного архива Сергея Андреева, вывезенного его друзьями в Израиль. Сергей Андреев любил рассказывать в дружеских компаниях странные истории и делал это с блеском. После гибели писателя друзья восстановили по памяти те из них, которые они считали незаписанными. Когда же в его архиве отыскалась "Гусарская" — текст ее абсолютно совпал с записью со слуша...

ОБ "ИНТЕЛЛИГЕНТСКОЙ ФАНАБЕРИИ" В БЛАГОСЛОВЕННОЙ АМЕРИКЕ.

Письмо старого эмигранта новому

В газете "Новое русское слово", издающейся в Нью-Йорке, появилось объявление о том, что требуются люди, пригодные для обучения сложному искусству перевода. Человек, прибывший в Соединенные Штаты с волной еврейской эмиграции из Советского Союза, послал по объявлению свои данные. Вскоре он получил ответ, который счел необходимым предать гласности. Это письмо было любезно передано нам читательницей журнала г-жой Ларисой Вайсблат. Со своей стороны редакция считает небезыңтересным опубликовать его в журнале, предоставляя читателям возможность самим сделать выводы.

Многоуважаемый г-н ...!

Ваше обращение ко мне с просьбой использовать Вас как переводчика, без знания английского языка, является продуктом досадного недоразумения, то есть ошибочного, неполного понимания сути моего объявления. В объявлении черным по белому написано: "русского происхождения", каков буквальный смысл этих двух слов? Да тот, что мы ищем представителей молодежи коренного русского православного населения, а не проживавших на территории царской России инородцев: евреев, армян, грузин и других. Смысл предельно ясен! Даже такой немаловажный факт, как Ваше проживание в нью-йоркском отеле (которые я обходил и обхожу за три квартала, вследствие недоступности мне по цене), свидетельствует, что местные богатые еврейские организации признают Вас своим, то есть евреем, а не русским. Вы выражаете недоумение или сожаление по поводу того, что среди еврейской эмиграции свирепствует безработица. Очень грустно, конечно, что тысячи миллиардеров и сотни тысяч миллионеров еврейской национальности терпят подоб-

ное явление, хотя, не будучи пророком, я смело назову виновниками эмигрантов с интеллигентской фанаберией, а не миллиардеров, нежелающих кормить паразитов. Аналогичное явление существовало в Америке в 20-х годах этого столетия, в момент прибытия жалких остатков денкинской армии; Ваш покорный слуга тоже был в числе прибывших. Правда, аналогичным данное явление можно назвать только с большой натяжкой, только по форме, а по сути глубоко различны эти два общественно-экономических явления. Нас привозили, как рабов, для эксплуатации дешевой рабочей силы, без тени каких-либо сантиментов. Пожалуй, лучшей иллюстрацией отношения к приехавшим рабам будет рассказ о том, как я провел первый день и первую ночь. Разбитый грузовой пароход доставил нас на 20-е сутки из Константинополя в Бостон, причем выбросил нас не в порту, где-то сбоку, около разбитой баржи, и сразу же предложили нам работу по разгрузке баржи, чтобы заработать себе на ужин один доллар (с 12 до 4-х часов вечера) и право провести ночь в беспалубной барже, в которой никто не мог спать, так как всю ночь лил как из ведра дождь и потоки воды, стекавшие по стенам баржи, промочили нас до костей. Похоже это на нью-йоркский отель, в котором Вы проживаете несколько лет? Уясняете Вы разницу в отношении "деловых" людей к нам, русским-рабам, и к вам, евреям, родственным по духу, крови и национальной судьбе. Но фанаберией и мы были заражены, от которой нас вылечил в первый же день работодатель-еврей.

На второй день своего пребывания в "благословенной" Америке я попробовал козырнуть своим университетским дипломом и получил следующий ответ: владелец баржи повернулся ко мне спиной, спустил штаны и предельно циничным жестом показал, какова цена нашим дипломам в Америке, далее он жестами указал на наши ручные и ножные мускулы, которые он высоко ценит, — кто обладает этими данными будет жить, нежелающие физически работать — должны подохнуть. За подобное чудодейственное лекарство я до сих пор чувствую благодарность к умному "доктору".

обнажившему свой зад, чтобы продемонстрировать свое полное презрение к нашей словесной культуре и бумажкам, ее удостоверяющим.

Днем Вашего рождения или воскресения будет тот день, когда Вас, грубо выражаясь, выбросят из отеля, без какой бы то ни было материальной помощи, фатально обрекающей на паразитизм. Переводчиком Вы никогда не сделаетесь, ибо этот проклятый для иностранцев язык надо изучать с раннего детства. Мои воспитанники помимо ХАЙ СКУЛ и элементарной школы (в общей сложности много лет изучают язык) должны два года в колледже и три года в университете зубрить до умопомрачения. Финалом такого продолжительного, пятнадцатилетнего изучения может быть (а может и не быть) награждение университетским дипломом. Вас в колледж не примут без представления аттестата об окончании ХАЙ СКУЛ, что является неременнейшим условием зачисления в студенты.

Фигурально выражаясь, мы ищем абсолютно сырой материал, некую глину в трещинах отдаленных штатов, из которой в течение четырех-пяти лет надеемся создать произведение, называемое дипломированным переводчиком. Не последнюю роль играют и гуманные или морально-этические импульсы: желание помочь вырваться из удушающей атмосферы деревенской жизни отпрыскам вечно пьяной паствы мошенников-попов.

С уважением к Вам *Борис Васильев*.

4.2.76.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

МАРЕК ХЛАСКО. См. в номере 11.



ИЦХАК МЕРАС Писатель. Родился в 1934 году в Литве. Окончил Каунасский политехнический институт. В течение многих лет работал радиоинженером. Ицхаку Мерасу принадлежат романы "На чем держится мир". "Полнолуние", "Ничья длится мгновение", повесть "Желтый лоскут", сборник рассказов "Старый фонтан", киносценарии "Июнь, начало лета", "Маленькая исповедь" и многие другие произведения. В Израиль Ицхак Мерас прибыл в августе 1972 года. На Западе им опубликован роман "Стриптиз, или Париж—Рим—Париж".

АНРИ ВОЛОХОНСКИЙ. См. в номере 6.

МИХАИЛ ЛЕДЕР. См. в номере 10.

ИЕГОШУА БАР-ЙОСЕФ. Писатель, журналист, литературный критик. Родился в 1912 году в Цфате. Работал в газетах "Дакар", "Маарив", "Едиот Ахронот". Бар-Йосеф — автор романов "Новый дом", "Встреча весной", трилогии "Очарованный город" и других произведений. Он лауреат премий Усишкина, Рамат-Гана и города Цфата.



Г. ФАЙН. Педагог. Родился в Москве в 1928 году. После окончания Педагогического института преподавал русский язык и литературу в различных школах Москвы и в частности в специальной математической школе № 2. Весной 1975 года выехал из СССР в Германию. Сейчас преподает русскую литературу и немецкий язык в одном из немецких университетов.

НАТАЛИЯ РУБИНШТЕЙН. См. в номере 2.

ГУСАРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, родился в 1925 году, служил в Красной Армии с 42 по 45-й год, после демобилизации закончил Театральное училище в Москве, играл в театре в Рязани и Фрунзе. В 1952 году был репрессирован, после освобождения работал еще некоторое время как актер в театре и на телевидении.



После распространения в Москве рукописи "Мой папа убил Михоэлса" и опубликования на Западе очерка "И примкнувший к ним Шепилов" отовсюду уволен. В настоящее время живет в Москве, работает (когда удастся) натурщиком, а когда не удастся — грузчиком в овощном магазине.

МИХАИЛ ШУЛЬМАН. См. в номере 6.



DIGEST OF TWELFTH ISSUE OF "VREMIA I MI" ("TIME AND WE")

MAREK HLASKO: "Repentant in Jaffo". (Continuation; cf. N 11)
Two stories.

ITZHAK MERAS: Story: "Half an hour in an unknown house".

HENRY VOLOKHONSKY: Poems.

MICHAEL LEDER: "The Affair".

The story of the downfall of the Israeli secret service network in Egypt.

G. FEIN: "Playing the role of highly paid door-keepers".

Notes about the Jewish intelligentsia emigration from USSR.

YEHOShUA BAR-YOSEF: The Truth in Fiction and Fact.

Reflection on the place of Fact and Fiction in the life of Israeli society.

NATALIA RUBINSTEIN: "Through the Confession of a Son of our times".

Some critical notes on the recently published book of Victor Perelman "Abandoned Russia".

VLADIMIR HUSSAROV: "My father killed Michaels".

An autobiographical story of the Son of the former Byelorussian Secretary V. Hussarov.

MICHAEL SHULMAN: "The Petersburg tour of Cantor Shulman".

Memoirs of the author about his meeting with Chaliapin.

OUR PUBLICATION.
OUR PUBLICATIONS.

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ РУССКАЯ
ГАЗЕТА ЗА РУБЕЖОМ

"НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО"

ВЫХОДИТ В НЬЮ-ЙОРКЕ, США
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АНДРЕЙ СЕДЫХ
66-й ГОД ИЗДАНИЯ

"НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО" РЕГУЛЯРНО ПЕЧАТАЕТ ДОКУМЕНТЫ САМИЗДАТА, ПРОТЕСТЫ ИЗ СССР, ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛУЧШИХ ЭМИГРАНТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ПУБЛИЦИСТИКУ И ПР.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 45 ДОЛЛАРОВ В ГОД;

25 ДОЛ. - 6 МЕСЯЦЕВ

ВОСКРЕСНОЕ ИЗДАНИЕ ТОЛЬКО: 20 ДОЛ. В
ГОД

ГODOVAYA ПОДПИСКА ВОЗДУШНОЙ ПОЧТОЙ
(ПАЧКАМИ ПО 6 НОМЕРОВ): 130 ДОЛЛАРОВ В ГОД

ПОДПИСКУ С ПЛАТОЙ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

"NOVOE RUSSKYE SLOVO"

243 WEST 56 St., NEW YORK, N.Y., 10019 USA.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ
СБОРНИК СТАТЕЙ И ДОКУМЕНТОВ

"ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ"

Авторы: Герман Андреев, Вадим Белоцерковский, Юлия Вишневская, Евгений Кушев, Анатолий Левитин-Краснов, Михайло Михайлов, Леонид Плющ, Ефим Эткинд, Ян Элберфельд, Александр Янов

Составитель сборника—Вадим Белоцерковский

Статьи сборника посвящены обсуждению альтернативных тоталитаризму демократических путей развития Советского Союза, а также полемике со сторонниками авторитаризма и великодержавного национализма.

В сборнике представлены главным образом работы литераторов, новых эмигрантов из СССР.

Для сопоставления взглядов авторов сборника с родственными взглядами, сложившимися на Западе, публикуются статьи М. Михайлова, Я. Элберфельда и "Гуманистический манифест — 11".

Для сопоставления публикуется также подборка высказываний сторонников возрождения великорусского национализма ("спектр неонационализма"), находящихся как в эмиграции, так и в СССР (представлен и официозный национализм).

В разделе документов публикуется обращение к сторонникам демократического развития СССР о необходимости создания в русской эмиграции периодического либерального издания в сотрудничестве с родственными кругами Запада, Восточной Европы и нерусских эмиграции из СССР.

Издательство "АХБЕРГ", 1976 г., ФРГ.
В сборнике 316 стр., цена - 20. - н.м.



..ДА.  «ХАЙ-КОАХ 18.000»

ДА, есть теперь новая программа сбережений в «Банке Леуми». ДА, новая программа обладает всеми достоинствами программы «Коах 10.000», но «потолок» сбережений поднят до 18.000 лир. ДА, также и новая программа предусматривает выплату 10-процентной gratification и процентов — на вклад и на gratification. ДА, обеспечена 100-процентная «увязка» вклада и gratification. ДА, освобождение от налога — на gratification на проценты и на «выравнивание». ДА, вы будете пользоваться всеми указанными выгодами, если будете вкладывать свои сбережения на протяжении 6 лет. ДА, вам (... все! вашей семье) стоит воспользоваться новой программой сбережений «Хай-коах 18.000».

BANK  LEUMI
LE-ISRAEL B.M.

«БАНК ЛЕУМИ ЛЕ ИСРАЭЛЬ ЛТД»

● Информация — во всех отделениях «Банка Леуми», «Банка Игуд», «Банка Купат-Ам» и Израильско-арабского банка.

БАНК, КОТОРЫЙ ИДЕТ В НОГУ С ВРЕМЕНЕМ

ДА! Если вы принимали участие в программе сбережений «Коах 10.000», то сможете отложить до 18.000 лир в рамках новой программы.

Художник Лев Ларский
Корректор Нина Островская

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по поводу них редакция
в переписку не вступает.

**Издательство "Время и мы". Тель Авив, ул. Нахмани, 62/9
п. я. 24123, Тель-Авив.
Тел .621085.**

62/9 Nachmani st. T.A.

Tel: 621085.

На четвертой странице обложки — набережная Тель-Авива.

